ИРИНА

КУДЕСОВА



САВА

ИРИНА
КУДЕСОВА

СА ВА

ЦИНИКИ

АСТ ЛЮКС ПРЕСС
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва • 2005

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)
К88

Оформление и компьютерный дизайн Н. Пашковой

Подписано в печать с готовых диапозитивов 30.09.04.
Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага газетная. Печать высокая с ФПФ.
Усл. печ. л. 15,12. Тираж 5000 экз. Заказ 2604.

Кудесова И.
К88 Сава. Циники: Сб. / И. Кудесова. — М.: ООО «Издательство АСТ»: ОАО «ЛЮКС», 2005. — 285, [3] с.

ISBN 5-17-026545-X (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-9660-0451-X (ОАО «ЛЮКС»)

Любовь — счастливая и несчастная, нежная и облагораживающая — или страстная, темная, иррациональная...

Любовь-привычка...

Любовь-воспоминание...

Любовь-ошибка...

Как многолика и всегда необычна она в изящных, тонких, лиричных произведениях Ирины Кудесовой!

Совсем как в жизни...

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)

© И. Кудесова, 2005
© ООО «Издательство АСТ», 2005

CA BA

I

— Из машины я вас не выпущу, Надя. И не рассчитывайте.

Мне ровным счетом ничего не видно. Только два темных профиля на передних сиденьях и в перспективе — за лобовым стеклом — пестрые огоньки ночного Парижа. Я думаю о том, как бы незаметно выскользнуть из этого чужого мирка.

У Базена, Александра Базена, папиного закадычного друга и маминого былых времен любовника (о, это было еще до папы!), как мне известно, у этого Базена вечно появляются приказные нотки, когда он чего-то хочет, но боится, что ему откажут. Я о женщинах, конечно же.

Двое на передних сиденьях молчат: считанные секунды, но мне кажется, что это — из-за меня. Я мешаю.

Но выходить — такая же бестактность, как оставаться. Надя ждет, когда я вступлюсь за ее, так сказать, девичью честь, я же нагло играю на руку старому греховоднику.

Ну и что делать прикажете?

С одной стороны, Базен: не красавец, но чертовски привлекательный; не юнец, но живой до отвращения; к тому же типичный француз (это для непосвященных).

С другой стороны, Надя: двадцать пять лет, не замужем, романтична до распущенности; обожает недавних призывников; с французами еще не пробовала, но очень хотелось бы.

С третьей стороны — я. Но при чем тут я? Надя мне даже не подруга, а так.

Они молчат, играет какая-то легкая музыка.

В салон врывается протяжный гудок: микроавтобус силится проехать, мы мешаем.

— Ты посмотри, что делает!

Базену сейчас не до маневров. Злым шершнем вылетает он из машины:

— Hé! T'es malade ou quoi?!

— Лиза, что он говорит?

— «Разуй глаза», говорит. Слушай, мне уйти?

— Зачем? Ах, вот ты о чем... Сейчас вместе пойдем. Это же цирк бесплатный!

Не слишком она деликатна.

— Надь, вообще-то это друг моего отца. Мне бы не хотелось...

— Нет проблем.

Друг Моего Отца рушится на сиденье, включает зажигание.

— Придется отогнать машину.

— Александр, — Надя говорит тягучим доверительным голосом, — знаете, нам пора. Правда. Мы с Лизой так устали! Большое спасибо вам за экскурсию.

Щелкает открывающаяся дверца. С бедного Александра Сергеича разом слетает вся важность.

— Надя, постойте! Да подождите же! Мы еще увидимся?

Слышно, как острый каблучок тукается в асфальт.

— Почему бы и нет?

Надя выскальзывает из машины, поводит пальчиками — «о ревуар!», дверца, чмокнув, мягко встает на место.

Хамоватое кокетство. Но Базен ослеплен: временно лишен зрения, соображения и чувства меры. Он уныло смотрит сквозь лобовое стекло на медленно, со вкусом отплывающую фигурку. Кажется, даже забыл о моем существовании.

— Александр Сергеич, спасибо. Очень важно было увидеть именно *ваш* Париж.

— Лиза... да... конечно.

Микроавтобус, потеряв терпение, взвывает. Хлопаю дверцей.

— Лиза! Я завтра позвоню! Узнаю, как устроились!

Киваю, красный базеновский «реношка» подает назад, обливает светом рекламу «Gauloises blondes» (в синем мареве — тусклые огни, размытая Триумфальная арка; огонек огромной сигареты вьется янтарной змейкой, золотым хлыстом...); кар-

тинка гаснет. Не оглядываясь, несусь по улице следом за Надей.

Еще сегодня я была в Москве. Неужели?..

В квартирке, снятой для меня Базеном, удручающе пусто. Кровать, старенькое трюмо, хлипкий шкафчик. На полу — гора дорожных сумок: побросали днем, заехав из аэропорта.

Надя с философским видом изучает «стрелку» на колготках.

— А ничего себе этот Базен по-русски лопочет. Только чуть-чуть с акцентом.

— Ага. С армянским.

— С каки-им?

Александр Базен, «в девичестве» Базян, уже лет двадцать как променял безмятежный труд в ереванском КБ на суматошную жизнь парижского экскурсовода. Досконально изучив карту французской столицы, ее историю и достопримечательности, самостоятельно одолев язык, хитроумный Базян попросту смылся из страны по морю-окияну. И получил статус беженца из брежневской империи.

— Ловко.

— Дело не в ловкости. Мама говорила, он был необъяснимо помешан на Франции... Мог часами рассказывать об истории королевских династий, о французской кухне, о каких-нибудь чудных парижских улочках, которых никогда не видел. Он, на-

верное, ошибся местом рождения. Ему и фамилия родная как-то не идет.

— Он чего, у нас был Базиным, что ли?

Александра Сергеевича я видела впервые, но казалось, что знаю его тысячу и один год. Отец иногда изображал его, а мы с мамой хихикали. «Его спрашивают: "Мсье Базен, уж не родственник ли вы писателя Эрве Базена, лауреата Гонкуровской премии?" — А теперь смотрите: Сандрик задерживает на собеседнике внимательный взгляд... и смущенно улыбается. Спросивший сочувственно кивает: "Понимаю... Я тоже журналистов не люблю..."»

— Надь, если идешь в душ, то делай это сейчас. Я с ног валюсь.

С Надей мы познакомились пару месяцев назад на выставке. Из-за рубежа понаехали фирмачи, меня по знакомству устроили на французский стенд; Надя работала с немцами. В перерыве — слово за слово... Я сказала, что осенью уезжаю учиться во Францию, папин друг (Базен) с жильем поможет, «поеду на недельку раньше, хочешь — махнем вместе...». План был коварен. Наде я предпосылала роль амортизатора: шлепаться на чужую землю в одиночку как-то неуютно. Но и Наде неплохо. Когда еще ей выпадет неделя дармового житья в Париже с личным переводчиком? Но додумкать до этого она не могла: «Ой, Лизочка, я даже не знаю... так неожиданно... может, потом

как-нибудь...» — «Потом — зима, учеба и личная жизнь с элементами эротики, — отрезала я. — Тебе что надо-то: визу оформить да за самолет заплатить. Это трудно?» — «Нетрудно», — повела плечиком Надя.

Конечно, лучше бы я позвала одну из своих настоящих подружек. Но звукосочетание «четыре-сотни-баксов-за-авиабилеты» действует на любую из них, как капля никотина на лошадь.

— Лиза! Тут нет биде! Я слышала, что во Франции у всех есть биде!

И вот пришлось довольствоваться Надей.

Пока моего отца не перевербовали французы, он работал на международных рейсах. А перекупили его потому, что он был первоклассным летчиком. Предложили — и он не отказался. Сюда в застой его уже не пускали: изменник как-никак. Когда он там остался, мне было девять. Так мы потом и жили с мамой вдвоем. Отец передавал нам шмотки, еще всякую ерунду. Мы привыкли к своему тихому существованию. Такая жизнь была даже удобна: папа есть, но ремнем не размахивает. И внезапно отец вернулся.

Ну, во-первых, перестройка, гласность, границы нараспашку. Во-вторых, *накушался*, как он говорил. Денежку привез. Поглядел на меня (я в очередной раз провалилась то ли в «Щуку», то ли в ГИТИС). И заявил, что образование — это

капиталовложение. И если я все-таки возьмусь за голову, международный диплом мне не повредит.

Что было делать? Само собой, хотелось *живьем* увидеть здание Оперы, на Монмартр вскарабкаться... Еще как хотелось. Но если ехать в Париж, то — прощай, Станиславский, буду зубрить какую-нибудь нудную экономику. Нет уж.

К тому времени, о котором речь, я пару лет как работала в Театре на Таганке. Гардеробщицей, ну и что. Зато по вечерам, спустя минут двадцать после начала спектакля, меня отпускали в зрительный зал. Спектакль был зачастую виденный-перевиденный, но в этом-то и заключалась вся прелесть — сравнивать, как играли сейчас и прежде, улавливать оттенки интонаций, догадываться, отчего в прошлую пятницу зал вздохнуть боялся, а сегодня так плоско все (ну вот, потащили на сцену личные проблемы)... Я уже знала назубок чуть ли не все роли. Иногда я проводила кого-нибудь из «своих» — с непременным условием «в ТЕАТР в джинсах не являться» (у меня, например, в подсобке висело завернутое в полиэтилен черное бархатное платье — бабушка сшила, — на спектакль я надевала его, а после вешала обратно).

Но самое главное происходило летом — это было Время Поступления в Театральное. С годами басенно-песенный репертуар рос; отрывки, стихи и смешные истории сыпались из меня, как конфетти из хлопушки, преподаватели уже начали приятельски улыбаться мне. Мама с отцом веселились, поражаясь ос-

линому моему упрямству, и неудачно прозвали Гамлетихой. Типичная реплика при попытке выставить меня перед обедом в магазин (произносится со страстью в голосе):

Вот в чем вопрос:
быть или не быть
сметане нынче в супе?
Ужель тебя, сметана, не дождемся?

Им казалось, что это смешно.

Да, они были беспечны и терпеливы, ибо знали: я одумаюсь.

И я одумалась.

Но не потому, что они себе вообразили. И даже не потому, что в двадцать учиться на актрису уже не берут. Хотя и это. Просто одна добрая преподавательская душа объяснила мне, когда я с сияющим видом отошла от списка прошедших на третий тур, — из двадцати мест восемнадцать давно заняты, и вся наша оголтелая толпа борется за жалкий остаток.

В летное училище меня, наверное, тоже без экзаменов взяли бы.

И вот я в Париже, с Надей, в крохотной квартирке без биде.

Знакомьтесь: Елизавета Лисина, будущий маркетолог.

Великая Октябрьская застала моего деда в колыбели. В силу своего малолетства он не запомнил ва-

гонную давку в поезде, шедшем на Запад, и не подозревал, сколько усилий потребовалось его родителям, чтобы прокормиться сперва в Берлине, а затем в Лионе. И слово «эмигрант» он узнал гораздо позже, чем сделался таковым.

То ли жизненные невзгоды закалили деда, то ли он от природы был кремень, но, глядючи на то, чего дед добился собственными силами, можно было уважительно снять шляпу. Некоторые дамы норовили сбросить и все остальное, потому что мой пращур (судя по ветхим фотографиям) был не только мужественен, но и весьма хорош собой. Понятно, добровольцев дед поощрял.

Насколько я сейчас понимаю, в юности у него было три основных увлечения: дамы, химия и Коммунистическая партия Франции. Науку дед обожал со школьной скамьи, а головастость и настойчивость позволили ему получить прекрасное образование практически в чужой стране. Он был одним из лучших выпускников химического факультета Лионского университета!

Что до КПФ, то дед вступил в нее во время войны. Отговаривать его, сына белых эмигрантов, было уже некому: в декабре тридцать девятого одного снаряда хватило, чтобы оставить деда без отца и матери.

Тогда-то наш старик и повернулся на коммунистической идее всеобщей справедливости. А в сорок шестом и вообще рванул в СССР: обучаться строи-

тельству светлого будущего. В то время существовала такая практика: подаешь запрос в советское консульство, тебя проверяют по всем статьям и — вперед, во Львов или Харьков, на завод или еще в какую дыру: обучайся на здоровье! Дед был коммунист, участник Сопротивления, да еще и русский в придачу... Пустили, на его голову.

Оказавшись в городке Саки под Евпаторией, на небольшом химзаводе, дед не раздумывая принялся за выполнение финальной части своего благородного плана. А идея заключалась в том, чтобы, сменив гражданство, поселиться здесь, строить новый мир и быть равным среди равных. Само собой, ему еще и спасибо сказали.

Время шло, дед трудился, обживался, внушал властям доверие и наконец внушил. Как-то ему поручили *присматривать* за одним французским семейством, прибывшим по той же линии, что и он сам: на «учебу». Молодые коммунисты привезли с собой море радужных надежд, гору бредовых идей и шестнадцатилетнюю дочь. Жюли сразила деда наповал. Ему шел тридцать третий год, и хотя он был немногим моложе родителей своей избранницы, это давало возможность говорить с ними на одном языке. А если учесть еще и общие идеологические взгляды... да то, что дед был «почти француз»...

Ясное дело, дружба набирала обороты, и дед (повращавшийся в среде заводских бабищ) гото-

вился к атаке на хрупкое большеглазое создание. Создание же — моя бабушка — и само тихо сохло по красавцу русскому, так чисто говорившему на ее родном языке... (Справедливости ради надо сказать, что выбора у бабушки, тогда еще просто Жюли, особо не было: кроме деда, она ни с кем и общаться-то не могла ввиду языкового барьера. Но с другой стороны, уж коли зрелые лионские дамы торопились обнажить перед дедом свои прелести, куда уж было устоять неопытной мадемуазель Жюли, ныне бабе Юле.)

Бабой, да еще и Юлей, Жюли стать никто, конечно, не позволил бы. Увезли б домой как миленькую. Дед, влюбившийся по полной программе и вознамерившийся создать крепкую советскую семью, заранее *тосковал и метался*. Жюли хотелось домой, но с возлюбленным, а не без. Шекспир, одним словом.

Все это я преподношу в таком шутливом тоне только потому, что бабушка не раз излагала мне эту историю хотя и с грустной, но — улыбкой. А про Шекспира — это вообще ее выражение.

Что было дальше? Ничего веселого. Бабушкиных родителей просто не выпустили назад. Они занервничали, начали ходить по инстанциям, и их посадили. Чтоб не выступали.

К тому времени бабушке исполнилось восемнадцать, они с дедом поженились. Потом папа родился.

Как они после Саки в Москве оказались? Дедушка же химик был и, между прочим, с международным дипломом. Поначалу его назначили начальником цеха, а потом, когда при заводе открылся НИИ, дед стал заведовать в нем лабораторией. Ему даже из столицы аспирантов присылали. Власти не промахнулись: на светлое будущее дед вкалывал результативно.

Дело кончилось тем, что деда пригласили в Московский институт химфизики: волевой, деятельный и неотразимый для химфизичек, он сразу же укрепился там. С жильем было туго, дед с бабушкой и папой поселились в двухэтажном домике в самом центре — там, где сейчас стоит гостиница «Россия». Вернее, обосновались они в единственной незаселенной комнатушке, служившей кладовкой: там не было ни пола, ни печки, ничего. Пол настелили, буржуйку раздобыли... А спустя полтора года деду выделили квартиру — от Химфизики. Двухкомнатная у нынешнего метро «ВДНХ». Правда, тотчас подселили две семьи, сказали, что на пару месяцев. Папа был маленький, но запомнил: одна комната перегорожена занавеской, и «туда нельзя». Через три года занавеску сняли, и после долгих благодарственных объятий подселенцы съехали. Квартира показалась огромной...

Эти три года стали для бабушки решающими. Отсидеться в четырех стенах без знания русского она уже не могла. Так или иначе, ей приходилось общаться с жильцами. Она красиво грассировала, иногда

путала ударения и окончания. Но в целом... Дед ласково улыбался и говорил: «Я горжусь тобой, Жюлечка». Потом, гораздо позже, бабушка устроилась преподавать французский в Иняз. Наверх ее там не двигали, но и не трогали.

Что до папы, то, зная французский как родной, он почему-то подался в летчики, а не в дипломаты. Финал известен: он улетел, а мы с мамой остались тут.

Французский язык достался мне от бабы Юли. Немудрено, что от «совка» бабушку мутило, и я с малых лет слышала от нее одно и то же: «Лизет, — меня дома звали Лизет, — вот вырастешь большая — станешь умненькой, красавицей, выйдешь замуж за француза и уедешь во Францию». «А ты поедешь со мной?» — щурилась я. «О! Что выдумала! Я к тому времени умру уже, Лизет». — «Ты что, бабушка! Ты будешь жить всегда! И мы вместе поедем в сказочный город Пари...»

Поскольку с бабой Юлей мы говорили только по-французски, все детство я была уверена, что *Париж* звучит по-русски так же, как на французском: *Пари*. Сказочный город, *виль фантастик*, повторяла бабушка. Она, конечно, хотела сказать, что он сказочно красив, но я понимала ее слова буквально. Франция долгое время представлялась мне дивной волшебной страной (и в нее можно было по-настоящему уехать!), а Париж я воображала в виде большого средневекового замка — с

башенками, флажками, лужайками и стражами у каждого входа. Замок населяли маленькие человечки — *парижьены*. По странной ассоциации *парижьены* казались мне похожими на длинноруких обезьянок, которые ходили, опираясь на кулачки (в зоопарке видела). Никак не могла взять в толк, как же я выйду замуж за мартышку, но особо не беспокоилась: бабушка все уладит.

Потом я подросла. Перестала верить в сказки.

Потом — выросла. Полюбила Театр. Влюблялась в мальчишек и мужчин. Но мой самый первый, самый светлый возлюбленный оставался со мною: веселый, беззаботный, ласковый, ворчливый, серьезный, в белой рубашке с галстуком-бабочкой, в болтающейся застиранной футболке, в мягком свитерочке под горлышко — ненаглядный мой *Мсье Пари*, город, где я обязательно буду счастлива.

Телефонная трубка килограмма полтора весит, не меньше. Беру ее, снова кутаюсь в одеяло, падаю на теплую подушку. В трубке — неестественно тонкий голос Базена:

— Лизет! Алло! Это ты? Не молчи, я знаю, что это ты. Собирай вещи, я буду через час.

Что-то стряслось. Ору в черноту телефонной трубки:

— Почему? Поче-ему-у?

— В аэропорт едем. Звонил твой отец, он передумал. Слишком дорого учеба твоя выходит.

— Как?.. Ну... хоть недельку мне дайте! Я же еще ничего толком не видела!

— Нет, Лиза, нельзя. Я уже билет тебе купил.

— Какого лешего вы мне что-то покупаете! Да не поеду я никуда сейчас!

— Лиза...

— Что — Лиза? Что?! Сидите в Париже два десятка лет, а мне и недельки нельзя побыть!

— Ну, Лиза...

Отвратительный голосок у этого Базена. Писклявый и истеричный. А у меня даже дыхание перехватило.

— Не поеду никуда! Все!

— Лиза! Лизка! Оглохла, что ли? — Писклявый голосок доносится с лежащего на полу матраса. — Телефон надрывается! Я ж не могу ответить! Я ж ни бельмеса!

Вылетаю из-под одеяла, босиком по холодному полу — в коридор. Телефон у бабки допотопный, стоит на полочке у входа и чуть ли не болтами к ней прикручен.

— Але...

— Лизет? Бонжур! Как дела? Са ва?

— Дела... са ва. Александр Сергеич, вы только что мне снились.

— Надеюсь, во сне я был крайне любезен.

— Дальше некуда...

Прежде всего нас понесло на Эйфелеву башню. План был таков: башня; потом — Лувр («Что в этой корове Джоконде такого? — закатывала глаза Надя. — Я должна ее увидеть»); затем —

кофеек в какой-нибудь кафешке с видом на Сену; и под конец трудового дня — речной трамвайчик.

Для всех этих подвигов Базен был нам совершенно ни к чему, и мы дали ему отбой «до завтра». А назавтра он обещал свозить нас на экскурсию по замкам Луары. Мы могли присоединиться к его группе, никого не стесняя. Единственное неудобство — подъем в шесть утра: экскурсия долгая, оттого и ранняя.

Стоим у подножия Эйфелевой башни: в очереди за билетиками. Кругом сплошные туристы. Надя прислушивается к разговору: мужчина в спортивных штанах что-то втолковывает куколке с рюкзачком.

— Немцы, — «ставит диагноз» Надя. — Пройденный этап.

— В смысле? — не догоняю я.

— Ну, я про то, что немец у меня уже был. Так себе.

— Ты о чем? А, ну да...

Действительно, о чем еще может говорить Надя? Вяло отмахиваюсь:

— У тебя пока не было ни одного Базена.

— Нужен он мне. К тому же он «наш».

— Давно уже не «наш». Париж — город любви. За столько лет можно ею пропитаться.

— Да ну, суррогат. А вот бы с настоящим французом роман закрутить! Они такие... такие...

Женщина средних лет, что стоит позади нас, улыбается:

— Не стройте себе иллюзий, девушка. Они ничем не лучше прочих.

Надя вздрагивает (и тут русиши, что ты будешь делать!), задирает носик, отворачивается.

Наша очередь. Я протягиваю в окошко монеты.

Сперва забрались на самый верх, под облака. Охали, ахали, от страха тряслись — все как положено. Потом спустились на второй уровень.

— Юбер!

Маленький мальчик откликается, бежит к маме.

С улыбкой смотрю ему вслед. В детстве я придумала себе французского принца, и его звали странным именем Юбер. Оно казалось мне очень красивым и очень чужим. Именно — *очень*. Както запредельно чужим и оттого чу́дным. Принцу Юберу прислуживали веселые обезьянки *парижьены*, он ел с серебряных тарелок золотыми вилками, но никогда их не мыл, а выбрасывал, потому что был сказочно богат. У него была тысяча игрушек и восемьдесят собак. (Плюс — специальная дудочка, волшебная, конечно; но это отдельная история, лучше не начинать.) Я думала: вот бы выйти замуж за Юбера, а не за какого-то, пусть и хорошего, парижьена. Бабушка сердилась и говорила, что парижьены — это люди, а не макаки. Но я нарочно ей не верила: так было интересней. К тому же я знала, что все подданные Юбера очень добрые, и любила их за это еще сильнее. Какая разница, *кого* любишь, если *любишь*?

— Лиз, ты о чем думаешь?

— Так, о мартышках.

— Нашла место — на Эйфелевой башне! Пойдем, тут, оказывается, даже перекусить можно. Умираю с голоду.

Цены над городом были астрономические.

— Надь, может, поедим, когда спустимся? Тут же грабеж натуральный.

Но упрямства Надежде не занимать.

— Ой, блины! Я хочу блины. Скажи ему, чтобы сделал.

Прямо у нас на глазах молодой человек льет на горячий круг белесую жижу, а спустя минуту снимает огромный блин. Надя вытягивает шейку, молодой человек бросает на нас взгляд и приветливо улыбается. Надя подается вперед, быстро опускает глаза и тотчас поднимает их. На лице ее вспыхивает улыбка, которую иначе как «лукавой» не назовешь.

Вздыхаю:

— Ну и сколько тебе этих блинов?

— Парочку... Слушай, скажи ему, что он в этом переднике неотразим.

— Надь, ты в своем уме, он же на работе. Его ж выпрут в два счета.

— Лиз, тебе что, трудно? Ну скажи!

Собственно, мне все равно. Молодой человек смотрит на нас с вежливым интересом.

— Нам по два блина, пожалуйста. Да, моя подруга говорит, что вы очень недурны собой. Просила вам сообщить.

Молодой человек по-прежнему вежливо улыбается, скашивает взгляд на своих соседок: те заняты выдачей пирожных.

— Передайте вашей подруге, что я польщен. Но такой красавице не следует обращать внимание на обыкновенного...

Я вскрикиваю.

— Sorry... — Обвешанный фотоаппаратами толстяк увлекся созерцанием кондитерского чуда и не заметил, как пребольно наступил мне на ногу. — Excuse me...

— C'est pas grave, — выдавливаю по-французски.

Толстяк оживляется:

— Oh, are you French?

Ну вот, думаю, в мои сети попала первая муха... вернее, слон. С неохотой отзываюсь:

— No, I'm Russian.

Толстяк тотчас теряет ко мне львиную долю интереса и отчаливает со словами «Red square, vodka, Gorbachev». Небогатый наборчик. Я пожимаю плечами и улыбаюсь блинному мастеру.

Он делает сочувственную гримасу:

— Vous êtes russes?

— Рус, рус, — вклинивается Надя. — Йес.

— Ah! M-m-m... Matriochka!

Мы смеемся. На самом деле вся эта сцена длится не более минуты. И наши блины уже призывно лежат на тарелках.

Я смотрю на Надю, слежу за ее взглядом. Она не отрывает глаз от мальчика за стойкой. Он смущенно улыбается ей.

Вспомнились две удивительно похожие рыжие собачонки, которых я видела в день своего отъезда. Отец укладывал мои вещи в багажник, песик подошел к машине и поднял лапку возле колеса. Хозяйка сказала: «Извините» — и дернула его за поводок. Они пошли дальше, я от нечего делать смотрела им вслед. Вторая собачка появилась внезапно, из-за угла. Она тоже была на поводке и когда потянулась, чтобы понюхать нечто, идущее навстречу, такое же рыжее-лохматое, — не смогла дотянуться. Хозяева миновали друг друга, собачки начали рваться с поводков, сворачивая головы назад и хрипя. Но люди были сильнее, они тащили питомцев за собой, в их планы не входила «нежданная любовь и первые робкие поцелуи». Вскоре хрип и скреб когтей по асфальту прекратились: не судьба...

Вот и мы: сейчас отойдем от стойки, и все кончится. Эти двое немного повспоминают друг о друге, потом забудут.

— Лиз, спроси, когда он заканчивает работу.

Это уже слишком. Шиплю:

— По-моему, вечером мы собирались на речной трамвайчик.

Но у Нади такое умоляющее лицо, что я сдаюсь.

— Вы... простите, вы не откажетесь показать нам Париж?

Быстрый взгляд на соседок по прилавку, улыбка:

— Я плохой экскурсовод...

— И все же, в котором часу вас ждать?

Два растопыренных пальца на одной руке, два — на другой. Это *почти* нам: это — ей.

За столик Надя становится так, чтобы наш новый знакомый не видел, как она будет набивать щеки.

Время шло к четырем, Надя заметно нервничала. Ей хотелось остаться наедине со своей добычей, но без переводчика им было не обойтись. По крайней мере поначалу.

— Слушай, Лиз, давай ты с нами погуляешь, а потом...

— ...незаметно исчезну.

— Ну да. Лиз! Ты обиделась?

— Нисколько.

Я и в самом деле не обиделась. Я окрысилась. Можно подумать, я везла сюда эту штучку для того, чтобы заниматься ее интрижками. Скажите пожалуйста, я всю жизнь мечтала, дорвавшись до Парижа, таскаться бесплатным приложением к озабоченной девице с ее избранником, а под вечер, когда их потянет на романтику, и вовсе остаться одной в незнакомом городе! Впрочем, рассчитывать, что Надя сделает выбор в мою пользу, было глупо.

* * *

Под башней мы оказались минут на двадцать раньше положенного.

В начале пятого нарисовался «повелитель блинов»: вышел, огляделся и так открыто улыбнулся, что мне стало совестно за свое брюзжание. К тому же без дурацкого передника он выглядел куда привлекательнее. Ей-богу, я сама закрутила бы с ним роман.

Подошел к нам, вроде даже немного смущенный.

— Ça va?

Он и вправду был хорош. Как я не разглядела его раньше?

— Са ва, — эхом отозвалась я.

Теперь уже поздно «работать локтями». Нечестно, и вообще.

Надя кивнула, потянула меня за рукав:

— Лиз, что значит «са ва»?

— Что-то типа «все хорошо».

(Однако какая несправедливость: со мной он мог бы часами говорить, а с ней только рожи корчить остается. И тем не менее ее ждет приключение, а меня — испорченный вечер.) Я снова повернулась к нашему знакомцу:

— Меня зовут Лиза, а ее — Надя.

— Lise, Nadia, — повторил он. — Et moi...

О нет, только не это.

— Лиз, как-как его зовут? Странно как-то.

— Что странного? Юбер — имя как имя!

* * *

На речном трамвайчике сесть было уже некуда. Я прибежала в последний момент: все размышляла, не дурной ли это тон — развлекаться в одиночестве. На нижней палубе разглядела местечко с краю: рядом с пожилой четой. Села, нахохлилась.

Я сбежала от счастливой парочки почти сразу. Не то чтобы мне было неприятно находиться рядом. Просто я столько лет считала, что это *мой город* — тот, кто ждет меня и кого жду я. И теперь чудеса должны были происходить со мной, со мной, а не с какой-то Надей! «Так тебе и надо, — повторяла я. — Эти разговоры про *свой город* — всего лишь «розовые пузыри»! На деле он самый что ни на есть чужой тебе. Будь он и вправду *твоим*, не потащила бы ты с собой подружку. В мечту не лезут со страховкой. Вот, получила то, что заслужила».

Мой Пари проучил меня. Я ждала от него распахнутых объятий, океана света. Но сама не торопилась с искренностью. Я нырнула в этот океан со спасательным кругом; круг развалился.

Так мне и надо.

Кораблик плавно отошел от причала.

С детства у меня осталась привычка — потрошить слова. Может, она появилась оттого, что я познавала два языка одновременно, и было так забавно разглядывать одну речь сквозь призму другой... Например: речной трамвайчик называется по-француз-

ски «бато-муш», что означает буквально «корабль-муха». Представьте себе подобную вывеску у нас! С другой стороны, «речной трамвайчик» — до такого тоже додуматься надо. Рельсы где? А еще, когда я слышу — «бато-муш», то воображаю мухищу размером с «Титаник». Или же это чей-то муж по имени Бато (грузин, по аналогии с «кацо»). А может, ученый муж...

Короче, я то и дело жонглирую словами. Когда-то у меня была подруга, которую тоже вечно разбирало, мы здорово время проводили. Потом разбежались, как это случается. Но как мы с Люськой отрывались два года подряд! Даже словарь толстенный составили. Вот, скажем, что такое «заслонка»? — а это жена слона. Или: ну, в общем, это неприлично. Вообще-то словарик еще тот, не всякому покажешь. Сказался процесс полового созревания. Эх, Люся, где-то ты теперь...

— ...Королевский дворец стал музеем в 1793 году, и сейчас в нем на семнадцати километрах галерей находится сорок тысяч произведений искусства...

И о чем я только думаю?

— ...Если вы постоите перед каждой картиной тридцать секунд, то для осмотра музея вам понадобится три месяца...

Все мимо ушей, да Бог с ним, теперь хоть каждый день катайся на такой «мухе». А ничего себе «сон ужасов» сегодня приснился. Будто я уже уезжаю. Такое отвратительное ощущение, лучше не вспоминать.

— ...Налево мост ведет к Бурбонскому дворцу, где сейчас заседает Национальная ассамблея...

И все же я здесь. *ЗДЕСЬ!* Сбылась мечта идиота. Нет, это я не про бабушку, а про себя. Бабушка, кстати, никогда и не бывала в Париже, она родилась в провинции, в маленьком южном городке Маноск. Потом — война, потом — СССР. Бедная баба Юля. А когда-то она была мадемуазель Нико. Пишется так: Nicot. Она страшно много курила всегда, а дед не одобрял. Заходит в комнату, там бабушка с папироской. Он сморщится и давай руками махать: «Ну, опять свой *никотинизм* развела!» (Nicot + никотин + идиотизм). Да, точно — дед тоже любил слова выворачивать...

— ...Вы видите золоченый купол Дома инвалидов, где стоит саркофаг Наполеона...

А можно было бы пирожное «наполеон» делать в форме треуголки... Обожаю Париж. Слышишь, я тебя обожаю. Зачем мне Надя? Кто такая Надя? А этих Юберов у меня будет еще тьма.

Стану гулять по вечерам в Люксембургском саду, шелестеть опавшей листвой; вдыхать теплый осенний воздух. По утрам буду нырять в темноту подземки с тетрадками под мышкой — сонная и счастливая. Подружусь с Юбером, просто подружусь, и стану заглядывать к нему иногда — там, под облаками, мы будем болтать о Надьке. Да, да, вот тут — над рекой, в самом синем небе...

— ...была возведена всего за два года и два месяца, с 1887-го по 1889-й, под руководством инженера

Гюстава Эйфеля. Высота башни — триста двадцать четыре метра, весит она более десяти тысяч тонн. Красят ее раз в семь лет, и работы длятся целый год. Уходит на них шестьдесят тонн краски...

Темнело. Навстречу нам плыли длинные-предлинные *батошки*, там играла музыка, молодежь что-то кричала и махала нам руками. Набережные были подсвечены мягким золотистым светом; на них сидели девушки и парни — по двое, по трое. Все были в свободных болтающихся свитерах, и я подумала, что обязательно куплю себе такой же. Прошла парочка с мольбертами. «Художники!» — я даже зажмурилась от прилива счастья.

И то, что произошло потом, меня не задело. Ничуть.

Что потом случилось? Да так. Доплыли мы до *самого романтичного моста Парижа*, моста Мари. Впервые проезжая под ним, надо закрыть глаза и загадать желание. А когда кораблик минует мост, полагается поцеловать соседа (соседку). Тогда желание наверняка сбудется.

Ну, загадать-то я загадала. Не желание, а пицца — чего я туда только не настрогала. Когда же из-под моста выплыли — смотрю, справа пожилая пара уже активизировалась, слева — никого: я же с краю сижу. Тут такое смятение мною овладело: *пицца* не сбудется, жизнь — прахом, сон — в

руку... Оглядываюсь и решительно заявляю первому попавшемуся типу: «Мсье, поцелуйте меня!»

Оказалось, он какой-то индиец. Чалма у него и все такое. «What?» — говорит. «Кисс ми, плиз!» — произношу с угрозой в голосе и, как мне кажется, с приятной улыбкой. Индиец задумчиво разглядывает меня. Мост удаляется катастрофически быстро. Девушка рядом с индийцем (индийка... индейка... индианка!) смотрит на меня изумленно. Мост все дальше от нас. Нет, с этими каши не сваришь. Сбудется, сбудется чертов сон! Разворачиваюсь, собираюсь с духом и ору: «В конце концов! Кто-нибудь меня сегодня поцелует?!»

Словом, остаток вечера я провела с Жераром.

Было уже полпервого ночи, когда я вспомнила, что вечером собирался звонить Базен — насчет завтрашних «замков Луары». Мы сидели с Жераром в кафешке возле Елисейских Полей, тянули кофе с коньяком и хохотали как психи.

— А еще мне такой случай рассказывали. Произошел он где-то в провинции в середине восьмидесятых. Тогда у нас в стране проблемы с мясом наблюдались.

— А с водкой?

— С водкой... Не знаю. Я еще юная была. Ну вот. Как-то звонят в милицию из зоопарка — так и так, козел пропал. И не просто козел, а муфлон.

— Сбежал? С травой у вас тоже были проблемы?

— Ну тебя, Жерар... не перебивай! Украли муфлона. Он же мясной!

— А я даже знаю, кто его выкрал!

— Ну и кто же?

— Лев.

— Какой лев! У льва все было в порядке. Его кормили посетителями.

— Правда?

Здорово политики забивают нам головы. Действительно, чем еще могут кормить льва в советском зоопарке, как не детками с шариками и леденцами! Жерар смотрит на меня не мигая.

— Шучу. Ну ты что? Шутка!

— А-а... Шутка!

— Ага. Ну и вот. Милиция приехала, осмотрела пустой вольер. А потом бумагу в зоопарк выслала, что отказывается воров ловить.

— Козел мог пожаловаться в высшие инстанции.

— Да козла уже слопали, Жерар!

— Значит, теперь и воров искать не надо?

Вздыхаю:

— Что ж их искать, если в отчете милиция написала — «Осмотром установлено, что муфлон содержался в вольере, не закрытом сверху. В связи с тем, что муфлона давно не стригли, у него отросли маховые перья, и он улетел»...

Жерар несколько секунд смотрит на меня, потом чуть не сваливается под стол.

— Ох-хо-хо! Не украли, а улетел! Улете-ел!..

Любопытно: по-французски «красть» и «летать» звучит одинаково — *voler*.

— Oh-ho! Il n'a pas été volé, il s'est envolé! Oh-h-h!

(Я не ожидала такой бурной реакции. Мне-то было уже не смешно — в который раз эту историю рассказывала. Но по-французски она и вправду звучала неподражаемо.)

Пока Жерар мотает головой, закашлявшись смехом, разглядываю его.

Лет тридцати пяти, симпатичный на физию. Да и так ничего. Но именно *ничего*. Вроде и чувство юмора есть (что лично для меня важно), и одет прилично, в зубах не ковыряется, на улице не плюет (может быть, пока). Но зацепиться не за что. Типа — посмеялись и разошлись. Сказал, что как раз вчера взял неделю отпуска — бархатный сезон и все такое... решил родителей навестить, они в Дижоне живут: «особо не тянет, но это лучше, чем *торчать в пыльном Париже*». Курсив мой. И вот перед уездом решил на кораблике покататься, так сказать, освежить скудные исторические знания о пыльной столице родного края. Дальнейшее известно.

— Ох-х... не могу. Еще кофе?

— Слушай, ты знаешь, сколько времени уже? Какой кофе! Домой поехали. Отвезешь меня?

Добрались до стоянки такси, нырнули в темный салон, Жерар назвал шоферу мой адрес. Медленно поехали, как во сне.

— Знал бы ты, как у нас гоняют...

— Прямо по городу?

— Ну да. Я как-то села в машину, тоже около часу ночи — не в такси, а так...

— Что значит — «так»? На стоянке?

— Ты не понимаешь, у нас нет стоянок. Тормозят где хотят. И подвезти может любой.

— Это же какой ущерб государству!

Хотела съязвить, мол, оно у нас и так ущербное, но сдержалась: «сор из избы», а изба-то своя...

— Так вот, села я в машину, и мы погнали. Причем почему-то дворами — в темноте и на жуткой скорости. Я в сиденье вжалась, трясусь, но молчу. А у водителя морда, как у палача. Летим между деревьями в гробовой тишине, только лужи из-под колес — шварк, шварк... Черт меня вдруг дернул спросить его: «А вы где работаете?» Я решила так светский разговор завести. И тут он отвечает мне замогильным голосом, не поворачивая головы: «В мо-о-орге»...

— Ох-хо-о-о! — Это уже на два голоса с водилой.

Поразительно, как люди любят, чтобы их развлекали. Кто б меня развлек!

— Лиз, ты, наверно, шутишь...

— Да нет. Но все кончилось благополучно. Через полчаса он высадил меня и уехал. И денег не взял.

— Как — не взял??

— Так. У нас это сплошь и рядом, — говорю не без гордости.

— А-а...

— Только высадил он меня не в том районе. Перепутал.

— Ох-х-х...

Я подумала о Наде. Наверно, она уже договорилась с Базеном насчет экскурсии. Завтра Жерар двинет в свой Дижон, Юбер отправится печь блины. А мы с Надькой, как закадычные подруги, будем наперебой рассказывать друг другу новости личного порядка.

И тут Жерар совершил самую что ни на есть банальную ошибку. А именно — положил руку мне на плечо. Вот так всегда — посмеется, потискает, доведет до подъезда, снова потискает и «на крыльях любви» полетит в свое логово. Как муфлон. А у тебя от этого всего — одна пустота внутри.

Я резко поворачиваюсь, рука, лежащая на моем плече, соскальзывает.

— Кстати, насчет муфлона. Так ты понял, почему милиция написала, что тот улетел?

— Чтобы воров не искать.

Тут уже я не выдерживаю, хохочу:

— Да ты не понял! Они муфлона с грифоном спутали! Ну, грифон, птица мифическая. И получился летающий козел...

— С когтями, — внезапно добавил водила (*гриф* по-французски — «когти»).

Мы выехали на площадь Бастилии. Жерар притворно вздохнул:

— Лиз, я понял только одно. В России без конца шутят и все путают. Да! Еще пьют водку.

— С пивом. Знаешь, у нас есть такое выражение: «Водка без пива — деньги на ветер»...

Ну и глаза были в тот момент у Жерара...

Я вышла из машины, задрала голову. Наше окошко не горело: видимо, Надя уже свалилась с ног.

Телефон неистово затренькал: часы показывали без пяти шесть утра.

Базен недовольным голосом сообщил, что звонил вчера вечер напролет — никто не отвечал. И что если мы все-таки собираемся полюбоваться на сокровища французской архитектуры, то пора вставать.

Я проспала к тому времени часа три. А недосып действует на мое настроение угнетающе. И еще я стояла босиком на холодном полу.

— Александр Сергеич... знаете... мы как-нибудь в другой раз, ладно?

Базен почуял недоброе и засуетился:

— Как — в другой раз? Другого не будет. Это очень редкая экскурсия! По крайней мере Надя на нее уже не попадет!

— А Надя, видимо, и так на нее не попадает.

— А в чем дело? Что-то случилось?

— Ничего не случилось. Просто она не ночевала дома.

— Лиза! Как же так! Надо полицию вызывать!

— Ага, — буркнула я. — Если только полицию нравов...

Базен замолчал. Он как-то сразу обмяк, даже жаль его стало. Все-таки он папин друг, зачем я так...

— Лиза... не знаю... ну ты хоть поезжай...

Смех и грех: взрослый человек, а растерялся, как мальчишка. Мне было совестно. Ведь могла смолчать, но не смолчала.

— Нет, простите, Александр Сергеич, я правда потом как-нибудь. Не выспалась, и вообще...

— Как знаешь, Лизет, как знаешь...

Нырнула под одеяло, но сон улетучился. Ей-богу, лучше уж было поехать, чем валяться в постели и думать черт-те о чем.

Во-первых, некрасиво: испортила день несчастному Базену.

Во-вторых, Надька абсолютно аморальна.

В-третьих, повезло ей с этим Юбером.

В-четвертых, Жерар сказал, что ни в какой Дижон не поедет, а будет мне *Париж показывать*. Ему нравится мое общество, я его веселю, он, кажется, уже влюблен, скоро начнет наглеть или страдать, пытаться выяснить какие-то отношения, приглашать или набиваться в гости, загадочно смотреть, печально улыбаться, нервно крутить пуговицу на рубашке, а выпив, пытаться за рекордно короткий срок прощупать мои бедные ребра, бюст и зад — как скучно.

* * *

Странно, у меня в жизни не было друзей-мужчин. Да и всерьез любимых не было. Мне не доводилось говорить по душам с кем-нибудь из «них». Жаль: ведь друг или любимый человек — это тот, кому *доверяешь*. Мужчина, к которому влечет — тот, кого *проверяешь* то и дело. Не на верность — я не ревнива, — а на цельность. Проверки не проходят. Может, мне не везло. Что говорить — хотелось бы просто доверять, чтобы — без оценки и ехидного прищура.

Говорят, это неромантично — когда друг становится твоим возлюбленным. Ты знаешь его вдоль и поперек, тебе нечего познавать, нечего завоевывать. А я вот думаю, наоборот: это же такое чудо, когда человек преображается у тебя на глазах, он начинает говорить тихо и мягко — как никогда раньше; он убирает прядку волос с твоего лица — нежно как никогда. Ты не ждешь от него подвоха. Ты еще тогда, давно, приняла его. И пусть в твоих руках — синица. Но самая прекрасная синица на свете.

Почему бы Жерару не стать мне другом? Просто другом, пусть без «перспектив». Это стократ лучше. Я сыта по горло этими романами, из которых ломлюсь, как лось сквозь чащу. Не умею, подобно легендарному муфлону, выпорхнуть из клетки и исчезнуть в неизвестном направлении. Уходя (всегда ухожу), я испытываю тошнотворное

чувство вины. Принимаюсь объяснять «мотивы» — мол, скукота и прочая... Однажды чуть до синяков не дошло. Но разве я виновата, что не любила?

Может, мой путь в любовь — как раз через дружбу. Чтобы — тихое чудо, а не сногсшибательный фокус. Чтобы — поток света, а не атомный взрыв. Было все: и фокусы, и взрывы. Только настоящего счастья — не было.

В сих печальных размышлениях я и уснула. Продрала глаза к полудню. Принялась бродить по квартире, разбирать шмотки. Вид у моего логова был необжитой и вообще убогий. Я повытаскивала из сумок всякую всячину — фарфорового зайца, фотографии в тоненьких рамочках, старый-престарый елочный шар (счастливый), мягкого енота... Я даже новогоднюю гирлянду прихватила: недавно придумала такую штуку — запихиваешь гирлянду в прозрачную вазочку, втыкаешь в сеть: вазочка то загорается, то гаснет. Ночью — красотища: комната вспыхивает желтым светом, погружается в темноту и снова вспыхивает — красным.

Было уже три, когда я все развесила, расставила, разложила и распихала. Стояла с вилкой от гирлянды в руках и размышляла... Около шести обещал позвонить Жерар (к тому времени, предполагалось, мы с Надей успеем насладиться замками Луары). Еще в кафешке возле Елисейских я предложила Жерару собраться с Надей и Юбером

и посидеть в каком-нибудь заведении. Мне, например, не терпелось попасть в знаменитый ресторан «La Tour d'Argent»: отведать утку, которую там готовят каким-то хитрым способом. Мало того, утки нумеруются, и, уходя, получаешь грамоту с номером съеденной тобой птички. Я это почерпнула из какого-то фильма.

Столик, понятно, надо было бронировать, поэтому я на прощание напомнила Жерару о своем нескромном желании. Вид у моего нового приятеля был не шибко радостный — как-никак уток с грамотами за «мерси» не выдают. Но я решила, что сильному чувству Жерара небольшие материальные испытания не помешают.

Так вот, я стояла перед розеткой с вилкой от гирлянды. Дверь открылась, и на пороге возникла Надя. Ничего удивительного.

— Привет! Какие новости?

Вела она себя подчеркнуто безмятежно. Видимо, боялась, что я затяну нотацию. (А что, на «Замки Луары» я из-за нее не попала.) Прошла через комнату, рухнула на кровать.

— Ну что Базен?

— Базен... Ауфидерзеен.

Надя вздохнула, но без особого раскаяния.

— Ой, Лиз, я будильник на шесть завела. Думала тебе позвонить. Выключила его, а потом ничего не помню.

— Да ладно, я сама поздно легла, мне утром не до Базена было.

— Вот, точно! Я же тебе трезвонила весь вечер!

— Да я... познакомилась с одним типом... А, ерунда. Где твой-то?

Было видно: Наде приятно это словечко — *твой*.

— Ну как! Он второй сменой. Довел сейчас до подъезда и двинул на башню.

— Значит, сегодня допоздна работает?

— Угу. А завтра с утра выходит. Мы не встречаемся.

Умеют же люди ломать другим планы. Я так ей и сказала.

— А чего?

— Да мы с этим типом, Жераром, решили в ресторан пойти. Причем с вами. А теперь... Не могу же я повесить ему на шею еще одну девицу...

— Ой, ресторан! Как я хочу в настоящий французский ресторан! С этими... как их... гарсонами! У меня есть даже радикальное мини по такому случаю!

— Юбер-то работает.

— Лиза, ну пожалуйста! Давай я твоего Жерара обаяю! Я очень хочу в ресторан. Думаешь, он на меня не раскошелится?

— Откуда я знаю. У французов вообще принято каждому за себя расплачиваться.

— Но за тебя-то он платит!

Тут меня заело.

— Надь, а что, только за тобой мужики ухаживают?

— Нет, Лиз... просто...

— Короче, так: мини и пачка денег. Но предупреждаю: расстанешься с одним или с другим.

— С деньгами или с мини? Лучше, конечно, с...

И тут зазвонил телефон.

И франки, и девичья честь остались при Наде. Догадаться было легко: сердечное состояние Жерара оставляло желать лучшего. Он сделал широкий жест, то есть заплатил за всех, а на Надины ужимки вчистую не реагировал. Собственно, она только игриво улыбалась — непросто научиться изъясняться по-французски за одну ночь. Мы же трещали, как две подвыпившие сороки. Жерар то и дело похохатывал, а я наслаждалась тем, как быстро у меня развязался язык.

Напоследок, проводив нас, Жерар задержал мою руку в своей и туманно выразился насчет того, что «пару дней назад и представить себе не мог... а ведь если бы ты не поехала на этом трамвайчике...» и «я завтра позвоню с утра».

Наде новый знакомый очень даже понравился, она сказала, что «это мой шанс». (В смысле мой, а не ее.) Правда, «Tour d'Argent» с утками так и остался голубой мечтой: «шанс» сделал вид, что забыл о моих пожеланиях. Заехал за нами в начале седьмого, погрузил в машину и повез в неизвестном направлении. Как выяснилось, в свой излюбленный ресторан под названием «L'Entrecôte». В этом «Антрекоте», признаться, было очень мило. Жерар заказал *меню* — то есть комплексный ужин.

Нам принесли по салату с орехами, антрекоты со «знаменитым» соусом (Жерар гордо заявил, что рецепт соуса засекречен) и вкуснющей жареной картошкой (которую, кстати, разрешалось потреблять в неограниченном количестве!). Без вина не обошлось, Жерар взял бутылочку бордо. Десертов на выбор было море, мы с Надей прямо растерялись. Жерар взял нам профитроли с мороженым, политые горячим шоколадом, — пальчики оближешь. Когда он расплачивался, мы чуть шеи не свернули, пытаясь заглянуть в счет. Жерар заявил нам, что здесь засиживаться не принято, а у него есть отличная идея. В результате из «Антрекота» мы плавно переместились в концертный зал. Он оказался совсем близко: пешком дошли. По дороге Жерар поведал мне, что слышал, будто русские обожают классическую музыку. Нам с Надей ничего не оставалось, как жарко поблагодарить его за возможность два часа подряд слушать опусы Штрауса.

Чего у меня никогда не было, так это слуха.

Надя стоит под дверью ванной. Сквозь шум льющейся воды то и дело пробивается ее ворчание, впрочем, вполне довольное.

— Не знаю, как ты, Лиз, но я лучше бы в ресторане эти два часа провела. Музыку и у нас в консерватории можно послушать. Классные были эти штуки с шоколадом, как их?

Выключаю воду. От стенки до стенки рукой подать. В школьном пенале и то просторнее.

— Ли-из, как их?

— Профитроли. А я бы по городу погуляла. Смешно: в Париже уже два дня, а толком ничего не видела.

— Успеешь. Слушай, а ты заметила, какая тут тьма черных?

Еще бы не заметить. В России я за всю жизнь видела только двух. Ну или трех. Надя не унимается:

— А ты видела, как они детей носят? За спиной в мешочке! Откуда они все?

Я-то знаю, откуда. Отец растолковал.

— Исторически сложилось. Могу рассказать.

— Как хочешь. Вообще-то мне все равно. Ой, Лизка, телефон!

Вылетаю в полотенце, хватаю трубку.

Мужской голос — на чистом французском:

— Алло... можно поговорить с Надей?

Кажется, я догадываюсь, кто это. Надо же, я думала, он больше не появится. Надька избегает разговоров о Юбере — словно он что-то значит для нее. При этом как день ясно: делать им вместе нечего.

— С Надей? Поговорить? Ну, это вряд ли.

— Почему?

— Да ведь она французского не знает.

На том конце — тихий смех. Похож на смех облегчения.

— Лиз, это вы?

— Ну а кто же?

— Я думал... мало ли... Как дела?

— Замечательно. Сегодня слушали Штрауса.

(Должного впечатления не произвело.)

— А-а... Я... я хотел бы... встретиться с Надей. Это возможно?

В устах смазливого француза, обвешанного прелестными парижанками, такой тон более чем неуместен. Да и речь идет не о воспитаннице Института благородных девиц. Хмыкаю:

— Ну, невозможно это будет только дней через пять.

— То есть?

— Улетит птичка. На родину.

В телефонной трубке — короткий вздох.

— Да... пять дней осталось... Лиз, если я попрошу ее встретиться завтра, как вы думаете, она придет?

Что Надька там из себя состроила?

Вытягиваю шею и заглядываю в комнату: Надя сидит на кровати, уставившись на болтающуюся на ноге туфлю. Причем с таким сосредоточенным видом, просто смешно. Само собой, она прекрасно понимает, с кем я беседую.

— Юбер, с чего бы ей не прийти?

— Ну... не знаю... Вы ее уговорите?

И это церемонное «вы»!

— «Мы» уговорим. Если что. Но подозреваю, наши услуги не понадобятся.

— Да?.. А она смогла бы завтра подойти к Башне... например, в половине пятого?

Когда ты молод, и в голову не приходит, что за женщиной надо заезжать. Но мог бы и сообразить.

— Если не потеряется.

— Лиз, вы ее проводите? Тогда я буду уверен...

Все это выглядит так странно. Что бы это могло быть?

— Ладно, привезу сокровище, не волнуйтесь.

Трубка положена. Вхожу в комнату. Надя вскидывается:

— Ну что?

— Ничего, свидание тебе на завтра назначил. Вел себя как мальчишка. Волновался и прочая.

Надя с облегчением откидывается на подушку.

Моя «волшебная ваза» вспыхивает красным, отбрасывает на Надины щеки легкий румянец.

— А он и есть мальчишка.

— Да ладно. Сколько ему — двадцать? Больше? С такими внешними данными мог бы не переживать. Таких Надь у него...

— Да нет у него никаких Надь. Я первая.

— Ну, не Надь, а всяких Жюли, Натали, Амели и так далее.

— Ты не поняла. Я вообще — первая.

— Ты хочешь сказать...

— ...что ему — семнадцать. Месяц как исполнилось.

Иногда я наблюдала *ее*. Мои подруги называли это любовью: по-настоящему бывали счастливы и неподдельно страдали.

Мне было легче жить, чем им. Я еще ни разу не плакала из-за мужика. Если кто-то нравился, я заводилась с пол-оборота и так же быстро остывала. Душа помалкивала, плоть болтала; эти двое всегда были чужими друг другу. Они не делились между собой секретами, не подбивали одна другую на безрассудные поступки. Плоть умела любить, душа ей не завидовала. А чему завидовать? Оно спокойнее спится — без любви-то.

Спокойнее спится... Это, конечно же, шутка. Не такое уж я чудовище. Мне знакома любовь — как к *родным и ближним*, так и к *чужим и дальним*: Театру на Таганке, Михаилу Чехову, Снегу, Принцу Юберу с его дудочкой, Мсье Пари с его волшебными улочками, Малиновому варенью, Анне Ахматовой, Первым зеленым листочкам по весне, Уильяму Шекспиру, Советскому Правительству, которое когда-то не посадило моего наивного деда, а ныне выпустило меня в город счастья, Ярко-красному «жуку», что стоит сейчас в веренице машин под моими окнами: я машу ему рукой, но он, дальний, не замечает меня... Я не чудовище. Видите, сколько всего у меня есть... По-вашему, я никогда не любила? А если да, то ну и что?

Ну и что. У меня просто затянувшийся подростковый период. В шестнадцать некоторые мои подруги тряслись от мысли, что «никого никогда» не полюбят. Подозревали за собой полную атрофию чувств. В шестнадцать это страшно, в двадцать

три — досадно. Забавно. Горько. В зависимости от настроения.

Отвергнутые мужчины брюзжали: «Тебе легче управиться со всем миром, чем с одним живым человеком».

Мама вздыхала: «Ты какая-то неприкаянная у меня...» «Свободная», — поправляла я.

Я всегда была «в порядке». Так что моя личная жизнь отдавала скорее скукой, чем горечью.

Но иногда я наблюдала *ее*.

С ней каждое объятие обретало сакральное значение. Каждое слияние. Каждый вдох. Каждая мысль.

И тогда мне хотелось истово молиться тому неведомому божеству, которое, видно, просто позабыло обо мне.

— Правда же, я выгляжу не старше девятнадцати?

Надя — при полном макияже, отчего на фоне абсолютно не накрашенных француженок смахивает на папуаса в боевой раскраске, готового сразиться с европейцами-завоевателями.

— Лиз! Ну хорошо. С половиной.

С площади Вобана Дом инвалидов виден весь: угловатый и громоздкий, такой строгий, он перетекает в купол, и тот, золоченый, поющий — будто неродной — уносится в чистое осеннее небо так легко, что хочется смеяться. Я останавливаюсь.

— Лиз?

— Чего?

— Ну сколько ты бы мне дала?

— Нисколько.

Торгуется. А ведь ее память еще короче моей. Вернется в Москву, и поминай как звали бедного Юбера.

— У тебя «кто-то» есть?

— Дома? А, ерунда.

Впрочем, кто еще из них бедный. У мальчишки сейчас никого нет, она — первая, королева, инопланетянка, в мамы чуть ли не годится (см. Фрейда). Но она уедет. А крылышки-то уже расправлены, полет прерван, жизнь продолжается. «Мерси, мадемуазель Надин, и адье. Все было очень вкусно».

— Лиз, ну чего ты застряла перед этим бегемотом с куполом, мы ж опаздываем!

До Эйфелевой башни еще пилить и пилить, а время к четырем, это верно. Но правда и то, что мальчик обязательно нас дождется. А увидев издалека, сорвется с места... Вот он уже рядом, бросает мне на ходу: «Salut. Ça va?», обнимает за плечи Надю — они не виделись целые сутки, — касается губами ее щеки. Ничего не происходит больше. Она тихо смеется, я отступаю, говорю — са ва, спешу, у меня свидание (честно); эти двое легко расстаются со мной; я иду прочь, оглядываюсь — они уже забыли обо мне: рука в руке шагают куда-то. Это похоже на любовь. Но я им не верю.

* * *

До своего отъезда Надя больше не появилась в моей квартиренке. Даже за необходимым не заехала. Недосуг, знаете ли.

Как-то за полночь позвонила, извинялась и смеялась. Они стояли в автомате, Юбер отбирал трубку (заметно осмелел) и что-то выкрикивал.

Я снисходительно улыбалась этим детишкам.

— Надь, любопытно, а что ты делаешь, пока Юбер блины печет?

— Он их уже не печет. Это была сезонная работа. Уволился пораньше, и все. Ему через неделю... Юбер... варт айн бисхен... ему на учебу через неделю... Юбер...

Он мешает ей говорить — так и вижу их: в тесной телефонной будке — два силуэта. Он стоит у нее за спиной, стиснув в объятии ее тоненькое тело; трется подбородком об открытое плечо; прихватывает губами шею, щекотно дышит в ухо. Она поводит головой, отклоняется, запрокидывает лицо... Короткий поцелуй; Юбер, подожди чуть-чуть, wart ein bibchen, Юбер...

— Он что, немецкий знает?

— Да ну, полгода учил, потом бросил. Но самую ерунду понимает.

— Слушай, Надь, а как вы общаетесь?

— Ты не догадываешься?

— Ну это ясно. А когда нужно что-то спросить? И вообще нельзя же молча тискаться часами.

— Ну... можно, почему нельзя... Юбер... Слушай, Лиз, как будет «подожди немножко»?

— Attends un peu.

— Атанзанпё, Юбер... Плиз... Подействовало! Знаешь, мы картинки друг другу рисуем. Так весело. Так необычно, Лизка.

— Разучите язык глухих, что ли.

— Лиз!

— А?

— Лиз... понимаешь, у меня еще никогда так не было. Он такой чистый, Лиз... мне молиться на него хочется.

— Это ненадолго.

— Что?

— Чистота.

— Может быть... Но она уже моя. Видишь ли, у меня никогда еще не было мальчишки.

— Ты же говорила...

— Да нет, самые мелкие оказывались уже не первой свежести. А тут — настоящий мальчишка. Это потрясающе, Лизка.

— Что этакого-то...

— Искренность. Первозданность восприятия. Ведь он всему верит. И он не сравнивает.

Я подумала, что не сравнивают только на начальном и конечном этапах: сперва не с чем, а потом незачем. Все равно все на одно лицо. Если это можно назвать лицом.

— Надь, радуйся, что он ни слова не понимает...

— Еще как понимает. Знаешь, что он сейчас делает? Перегрызает провод... Я его за это обожаю. Ни одному надутому тридцатилетнему не придет в голову перегрызать телефонный пр...

Тут у них кончилась карточка.

Мы встречались с Жераром каждый день. Бродили по городу, сидели на террасах кафе, тянули кофе из крохотных чашечек.

Отхохотались: просто говорили.

— Съездим завтра в Версаль?

— Конечно.

Жерар руки не распускал, я пыталась убедить себя, что мы друзья. Но был он как-то не по-дружески услужлив. Меня преследовало смутное подозрение, что если я скажу: «Поехали на Северный полюс», он не моргнув глазом ответит: «Конечно».

Версальский дворец мне не понравился. Пока мы бродили по его ломящимся от золота залам, меня не оставляло ощущение, что я в Петергофе. А хотелось чего-то особенного... Резиденция французских королей показалась мне банально роскошной.

Мы поболтались по знаменитому версальскому парку: вылизанному, выстриженному... но меня уже ничто не впечатляло. Я немножко покривлялась, изображая то одну, то другую томные статуи, щедро разбросанные по парку. Потом мы домой засобирались.

По площади перед дворцом прогуливался — в королевской мантии и парике — сам Людовик XIV. Туристы в пестрых майках и джинсе принимали рядом с ним величественные позы, щелкали фотоаппаратами. Руку жали.

— Может, хочешь с королем сфотографироваться?

— Я? Нет!

Пока шли к машине, на нас то и дело набрасывались предприимчивые дети Африки — трясли шейными платками, пытались всучить какой-то хлам: пластмассовую птицу с бумажными крыльями, набор открыток, желтые латунные брелоки в виде Эйфелевой башни...

Остановилась, поймала на ладонь брелок: где-то там, в переплетении крохотных спиц, печет микроскопические блины малюсенький Юбер... Ах да, он же сбежал оттуда.

Сколько дней прошло с Надиного звонка? Два или три... Так... так у нее же завтра — самолет! Она хоть помнит — или совсем одурела?

— Жерар, завтрашний поход за свитером отменяется.

— Но ты же хотела... чтоб как у художников.

— Не повезло мне. Надя улетает: надо ее дождаться и ключи забрать. А то она их в Москву увезет.

— Вечером...

— Вечером я хочу отдохнуть.

— Но это наш последний свободный день! Я же на работу выхожу!

— Значит, тебе тоже не повезло.

Что я всегда умела, так это отказывать. И настаивать.

Мама говорила, это у меня от деда. «Тот тоже: сперва — «нет», а потом думает. Сначала возьмет, а затем размышляет, нужно ли оно ему. А все от упрямства. Не будь такой, Лиза. Женщину мягкость украшает». — «Но дед...» — «Дед твой свое получил. Вечно напролом лез — куда, зачем? А ты, между прочим, по его милости тут торчишь». Мама никак не брала в расчет тот факт, что ни я не родилась бы, ни мой отец, если бы в свое время ее свекор не рванул в Союз. Дед умер лет восемь назад, я его хорошо помнила. Он и вправду был довольно упрям, но скорее можно сказать — принципиален. Например, ни в какую не хотел рассказывать о своей досоветской жизни. Так, только общие сведения. Даже бабушка мало что знала. Думаю, у него были на то свои основания.

Как и дед, я привыкла получать желаемое. Чего бы это ни стоило. Думаю, в театральное я поступала б еще лет до восьмидесяти — если бы не отец.

Самое интересное, что при всей моей настойчивости мне катастрофически не хватало наглости. Это был тоже «привет от деда». Но его как-никак происхождение обязывало. А меня это порой подводило.

Что до личной жизни, то и настаивать, и отказывать у меня получалось отменно. Вернее, «настаивать» — не совсем то слово. Если меня кто-то интересовал, я могла прямо заявить об этом: было без разницы, какое впечатление произвожу, — я знала, что все это ненадолго. Такое поведение обычно имело потрясающие результаты: я не слышала ни одного отказа. А то, что легко давалось, — не ценилось, само собой.

Мы покидали Версаль. По дороге в Париж я думала о Наде с Юбером. Мне вдруг стало понятно, отчего я им не верю. Они достались один другому без малейших усилий. И мне казалось, это достаточное основание для того, чтобы отпустить друг друга с легкой душой.

Крохотная квартирка, которую Базен раскопал через знакомую старушку, находилась недалеко от центра, в четвертом округе. Точнее — на бульваре Бомарше, в двух шагах от площади Бастилии.

Бульвар Бомарше, как известно всякому парижанину, славен своими фотомагазинчиками. (Дверь в мой подъезд находилась по соседству с одним из них.) Я из любопытства заглянула в каждый, благо они тянутся друг за другом. На витринах были выставлены фотоаппараты, часто старинные, да что старинные — допотопные! Ходила, разглядывала их, болтала с продавцами. «Наверно, бутафория?» — «Ну что вы, мадемуазель! Самые что ни на есть

настоящие!» Больше всех мне понравился такой... гармошкой. Он стоял на витрине с незапамятных времен, и в складках у него протянулись белесые ниточки пыли. Как грустно каждый день созерцать мир, спешащий за стеклом витрины, смотреть своим мудрым объективом и знать, что ты уже никогда не остановишь, ни на мгновение этот мир не остановишь. А когда-то ты делал это — и дети замирали в ожидании птички. Да и взрослые тогда, наверное, верили в нее, в эту птичку...

Как выяснилось, Базен просто подвиг совершил, раздобыв сие замечательное логово.

У его знакомой старушки была сестра, еще более древняя; той, древней, требовался уход, но она ни за что не желала перебираться к родственникам, создавая им неимоверную головную боль. Года полтора назад те выманили ее из норы на праздники да так и не пустили обратно. Квартиру решили сдать, но не тут-то было. Бабулёк, то ли в порядке мщения, то ли из чувств сентиментальных, пообещала проклясть первого, кто перешагнет порог берлоги на Бомарше. И второго тоже.

Дом был каменный, добротный, но квартирка — две микроскопические комнатушки, узкий коридорчик, кухонька-меньше-не-бывает, душ впритирку с громогласным туалетом. Как верно подметила Надя, последний — «без биде». Базен ума не мог приложить, на какой козе подъехать к старушенции. Он наплел что-то про бедную русскую студентку, про необходимость совершать доб-

рые поступки и про то, что Отец наш небесный ведет счет нашим деяниям денно и нощно. Похоже, бабулёк решила не портить отношения с Господом. Все мало-мальски ценное сгрузили в одну комнату, заперли ее, а во вторую пустили меня. Причем за копейки — то ли потому, что Базен намекнул на Божье око, то ли оттого, что затаившая обиду на родичей старушенция надумала отыграться.

И в этой самой квартиренке, поглядывая поочередно на часы, на Надькин авиабилет и в окно, я готовилась выслушать душещипательную любовную историю.

С чего я взяла, что Надя примется изливать мне душу? Несмотря на ее постоянный стрекот, было видно: если надо, молчать она умеет. Как после ее первой встречи с Юбером.

Мне не пришло бы в голову ждать откровений, если б не ее телефонный звонок. «У меня никогда так не было», «молиться на него хочется»(!), «искренность... первозданность восприятия»... Я и не думала, что она может так говорить. В смысле, так *красиво* говорить. До сих пор она только и делала, что трещала о шмотках, о погоде и о мужиках. С ней определенно что-то произошло.

Но в Москве у нее явно кто-то был. Временный или постоянный, не важно. И этому, московскому, ничего не грозило: сейчас она, может, и бросит его, да вскоре прибежит назад — такие, как Надя, не в

состоянии долго протянуть в одиночестве. И все вернется на круги своя.

Да, одиночество в ожидании следующей поездки затянулось бы. Надя работала секретарем в какой-то новоявленной российско-немецкой фирме. Пока летели в самолете, она призналась, что у них даже отпуск брать нежелательно: только на ноги встают. И все же — отпустили на целую неделю. Я не удивилась бы, узнай, что у шефа на ее счет «далеко идущие» планы. Во время выставки она работала на стенде этой своей немецкой конторы. Пару раз заявлялся босс: брюхатый фирмач с розовыми щечками и такими крохотными глазками, что их на физиономии еще поискать надо. Копошился в бумагах и любезничал с Надькой. Противный тип. Так что ждать ей нового отпуска не дождаться...

Надя не появлялась, и я всерьез стала подозревать, что она все на свете забыла. А у меня не было никаких ее координат.

Когда я в очередной раз выглянула в окно, то увидела их: они шли, держась за руки и оживленно беседуя (как? о чем?). Через пару минут они возникли на пороге.

— Лизка! Ты дома!

— Интересно. А как ты думаешь, мне вторая пара ключей не нужна? Или ты ее в Москву собралась тащить?

Надя удивленно взглянула на меня:

— Юбер бы тебе передал...

Мой ворчливый тон нисколько ее не задел. Она была... какая-то капельку другая. Какая-то... кроткая, что ли. Юбер стоял в дверях, облокотившись о косяк.

— Salut. Ça va?

Он и вправду очень молодо выглядел: как я не заметила этого еще на Башне... В переднике, с поварешкой в руке и при искусственном свете он казался старше и строже.

— Лизка, ты как, в порядке? Са ва? Отвечай: «Са ва»! В порядке!..

Я никак не могла взять в толк, что же с Надей произошло.

Она подурнела и похорошела одновременно. Было такое ощущение, что она вовсе перестала следить за собой. Это от счастья, что ли? Надя перехватила мой взгляд, метнулась к зеркалу. И ни на секунду не стушевалась.

— Лизка, я ужасно выгляжу, да? Мордаха — как болото, вся в кочках.

— Да... не особо заметно. Ты прямо светишься вся.

— Правда? А на морде у меня аллергия обыкновенная. Крем-то тут остался.

— Могла б заехать.

— Лиз... ну, не до того было. У Юбера родители смылись в отпуск на три недели (вообрази, а мне уезжать!). И вот я решила крем его мамы попробо-

вать. Три дня мазалась. Теперь уродиной хожу. Но Юбер сказал, что это ерунда.

— По-немецки сказал? Или как?

Надя улыбнулась:

— Как? Молча. Помнишь, в фильме «Блондинка за углом» такой персонаж был — его еще Крокодилом звали? Он тоже молча разговаривал...

— Nadia.

Юбер постучал согнутым пальцем по крышке часов.

Надя задержалась на нем взглядом, состроила ласковую гримаску. Когда она повернулась ко мне, в углах ее губ еще жило что-то: что-то безоблачное.

— Знаешь, Лиз, как он меня называет? Надэнька. Это я его научила. Только ударение у него не там, где надо. Звучит как «надень-ка». Он скажет, а я — р-раз! — и надеваю, например, футболку. Он не понимает, конечно. Снова — «надень-ка». Влезаю в его шорты. Я на себя столько шмоток подряд нацепила, он все никак сообразить не мог. Потом мы так смеялись...

Я подумала, что от «Лизотшки» не отказалась бы. Но следом представила себе Жерара, и все желание как рукой сняло.

— Ладно, Надь, собирайся, и впрямь опоздаешь. Сейчас принесу твои «мыльно-рыльные».

Юбер посторонился, я проскользнула в коридор. В ванной сорвала с крючка полотенце, кинула на него зубную щетку, тюбик пасты, баночку с кремом.

* * *

Когда я вернулась в комнату, эти двое дружно сваливали в большущую сумку бесконечные платья: Надя вытащила их в самый первый день и рассредоточила по комнате. Как известно, они ей не пригодились.

Юбер сдавил раздувшиеся бока сумки; я заметила, что у него красивые руки.

Надя потянула на себя неподдающуюся молнию.

Я стояла и смотрела на них. Ничего особенного не происходило: два человека пытались застегнуть сумку. Но что-то — почти уловимое зрительно — было между ними: оно витало в воздухе, оно жило в их дыхании, в повороте головы, движении рук... И оно не казалось мне похожим на счастье. Хотя это и было скорее всего счастье. Но какое-то... полынное. Да, верно: за пару минут моего отсутствия оно стало горчить. Может, потому, что только сейчас, глядя на сумищу с прожорливо распахнутой пастью, эти два существа — беззащитных существа! — осознали: точка. Капут...

У меня все всегда было проще и яснее. Мне вдруг показалось, что передо мной — два несчастных ребенка. Я почувствовала себя взрослой и милосердной. Детей надо было отвлечь от их беды. Хоть бы и на мгновение. Это тоже много.

— Надь...

— А?

— Слушай, а что с телефоном случилось? Помнишь, когда ты мне звонила с улицы? На полуслове оборвалось...

— Карточка кончилась.

— Да? Ну слава Богу.

— А что?

— Да нет, я боялась, что Юбер перегрыз-таки провод...

Надя коротко засмеялась, Юбер вскинул голову, вопросительно посмотрел на нас. Я впервые наблюдала, как они общаются. Надя говорила по-русски, сопровождая речь знаками и ужимками, изредка вставляя немецкие слова. Перегрызание провода она изобразила очень натурально. И вправду, им не был нужен никакой переводчик.

Юбер тихо улыбнулся. Встал с пола, поднял сумку.

И эта улыбка, и то, как он поднялся с колен, было наполнено такой отчаянной тоской, что я даже устыдилась своих жалких попыток развеселить здесь кого-то.

Раньше я думала, что тоска — это если у тебя кто-то умер или ты лежишь в параличе. Или — и то и другое. На все сто была уверена, что все прочее — вздор.

Я ошибалась.

Уже неделя прошла с тех пор, как Надя уехала, Жерар вылез на работу, а я пошла учиться.

Тогда, проводив Надю, я отправилась на улицу Риволи — поглядеть на свою ESMI — Высшую

школу международного маркетинга. Здание оказалось точно таким, о каком я мечтала: старинное и элегантное. Больше всего меня поразили перила на лестнице: широкие, гладкие, темного дерева. Чуть стершиеся. Я еще подумала: интересно, а здесь студенты по перилам катаются? Словом, контакт со Школой я нашла сразу. А благодаря стараниям Базена добираться до нее было совсем недолго.

За эту неделю я виделась с Жераром не больше двух раз. (Порочную практику ежевечерних встреч надо пресекать в зачатке.) На курсе поначалу ни с кем не сошлась и после учебы одна бродила по бульварам и улочкам, разглядывала вывески и мемориальные доски (с такого-то по такой-то год здесь жил Мольер... Робеспьер... Хемингуэй...). Если дверь была открыта, заходила во внутренний дворик. Все казалось таким маленьким и ухоженным. Добротным и дышащим стариной. Забредала во все попадавшиеся по дороге храмы — так непохожие на русские церкви... со скульптурами внутри, статуэтками, аккуратными рядами стульчиков: садись, говори с Богом на равных... Поначалу это так удивляло. А супермаркеты! Я ж из российского кризиса начала девяностых, мне ж без валерьянки сюда заходить нельзя. И какое доверие к покупателю! Гуляй, рассматривай сколько хочешь, возьмешь — заплатишь на выходе. Ни тебе очереди к прилавку, ни грозной крашеной тетки с весами... А эти бесконечные pardon'ы на улице — тут и там, тут и там — ах, извините, задел ваш

зонтик, премного виноват... И здания, углом врезающиеся в развилку улиц, как нос гигантского корабля... Вычурные фасады... вязь балконов... уютные скверики в сотню-другую шагов (зеленая калитка, на ней знак: «барбосам запрещено»)... И еще — ночная иллюминация... Музыканты в вагонах метро, ветхие книги и рисунки, выложенные букинистами на парапете у Сены... Фонтанчики на перекрестках... День за днем Мсье Пари все больше очаровывал меня. Я бегала на самые настоящие свидания — с тем, кого ждала и любила с самого детства. В Городе не было картонных башенок и стражей; но был воздух — тот неповторимый воздух моей первой парижской осени. Как-то я остановилась на мосту Сен-Мишель: хотелось просто постоять, проводить вечернее солнце. Взглянула вниз, на Сену. Река была чуть ниже обычного уровня, и на каменных отвесных берегах, прямо над водой, виднелась полоска ила. Ила или водорослей — темно-зеленая такая жирная черта. И тут же, у меня под ногами, — утка с утятами, сосредоточенно щиплющие эту зелень. «Тихий семейный ужин», — подумала я.

Сперва не заметила, что произнесла это про себя по-французски. А когда сообразила, чуть дыхание не перехватило. Даже на мгновение показалось, что ветерок принес сладковатый, сдобный запах моего детства. Когда папа еще был с нами, родители отправляли меня на выходные к бабушке. Баба Юля жила на втором этаже, а на первом

обитала какая-то женщина, пекшая пироги как заводная. И запах из ее квартиры шел вверх... С бабушкой мы ни словом по-русски не обменивались, и по возвращении домой я ловила себя на том, что думаю на французском. И сейчас, стоя на парижском мосту, глядя на сгорающее солнце — там, у остроконечной крыши Консьержери, — на утиное семейство далеко внизу, на какого-то парня, улегшегося на парапет — легко и свободно, без тени стеснения, — я предательски подумала: как же хорошо... как хорошо, что я не поступила в «Щуку»... в «Щепку»... что я здесь, и пахнет пирогами бабушкиной соседки, а я и в самом деле, как обещала баба Юля, милая моя mamie, стала умницей-красавицей и поехала в сказочный город Пари... Знай я заранее — про уток, про вечернее солнце, про парня на парапете, — разве мне пришло бы в голову осторожничать и тащить с собой Надьку!

...Кстати, интересно, как там она? Уже смеется или все еще горюет? Но не звонить же в Москву. Во-первых, дорого, а во-вторых, я считаю, что любопытство — недостойное чувство.

Спустя пару недель Надя объявилась сама. А я уже стала потихоньку забывать всю эту историю.

Сообщила, что записалась на курсы французского (!). И будет ходить на них с ноября, раньше не получается. Сказала, что созванивается с Юбером едва ли не каждый день (может, мне послышалось?).

Правда, на днях вернулись его родители, и теперь звонить может только он (конспирация).

Созваниваются они! А ведь по телефону не пожестикулируешь.

— Ума не приложу, как вы общаетесь.

Она засмеялась:

— Как? Очень просто. Я говорю по-русски, он слушает. Потом — наоборот. Знаешь, люди так мало значения придают интонации, а ведь это самое важное. Ничего больше и не нужно.

Надо же. Прямо-таки колоссальные успехи. А я-то считала ее безмозглой, длинноногой... Или ее любовь так «подкосила»?

— Ну и как ты? Как Юбер?

— Скучаем. А я тут с одной девчонкой познакомилась, она французский знает. И как-то попросила ее со мной позвонить. Она переводила, а я рядом стояла. Совсем не то!

— То есть?

— Мы друг друга-то не слышали. Не понравилось нам. Да и говорить, оказалось, не о чем.

— А что ты по-русски ему обычно толкуешь?

— Так, ерунду всякую болтаю, что в голову придет. Я же сказала, интонация — это все. То же, что за руку взять... Например, рассказываю, что на ужин купила. А сама будто пальцы его перебираю, Лизка... Говорю: днем дома сидела, дождь как из ведра, даже сквозь окно залило. И будто беру его ладонь и к щеке прикладываю... Мне даже начинает казаться, что он рядом.

Вот что еще меня в Наде поразило: ей (ей!) не приходило в голову беседовать с Юбером о постели: дышать в трубку и шептать непристойности. Да, между этими двумя явно было нечто большее, чем банальное влечение. Внезапно для себя я произнесла:

— Надь... тебе... очень плохо?

Она ответила не сразу.

— Не знаю. Порой мне кажется, что я в аду. А иногда, когда совсем тошно, я говорю себе, что рай может обернуться тем же адом, если надолго в нем задержаться. Тут мне один знакомый рассказал притчу о саксофонисте... Не знаешь?

— Нет.

— Ну ладно, потом.

А вот это самое интересное.

— Когда потом-то?

— А я на Рождество к вам собираюсь. Остановиться у тебя можно, если что?

— Как это — «если что»?

— Ну, у Юбера родители на праздники должны смотаться. У них еще неделя от отпуска осталась. Но если...

— Понятно. Конечно, можешь у меня упасть. Тебя босс-то отпустит?

Уж ясно, толстопузый дядька от радости не запрыгает, когда Надя заявит, что собирается свинтить на недельку.

— Босс? Я три дня как уволилась. Работу ищу.

Это было уж совсем что-то неимоверное. В то время как вся страна жила на талонах, оказаться

на импортной фирме, получать там нормальные бабки и — свалить по собственному желанию? Надька точно рехнулась. Я так ей и сказала:

— Надь, что бы там ни было, но тебя надо лечить. Желательно в стационаре.

Она и ухом не повела.

— У меня-то все в порядке с головой. Но этот пивной бочонок начал клеиться в первый же день, как я вернулась. Он отпустил меня по-тихому, и теперь ему *данке шен* захотелось. В общем, пришлось уйти.

— А на выставке ты с ним кокетничала.

— Это же было до Юбера.

Я посмотрела на часы. Мы болтали уже минут десять.

— Надь, тебе денег не жалко? Связь-то международная.

— Брось. Знаешь... ты для меня теперь — частичка... той жизни. И только с тобой я могу по-настоящему поговорить о Юбере.

Это было мило с ее стороны — так сказать. Я подумала, что мы могли бы дружить. Может быть.

Правда, с темами для разговора у нас было бы туговато. Но я радушно заявила:

— Пожалуйста. Звони, когда хочешь.

Надя помолчала, потом заговорила совсем тихо, я еле расслышала:

— А помнишь, как Юбер провод перегрызал? Тогда еще карточка кончилась... Мы стояли в автомате, моросил мелкий-мелкий дождичек... Будка

была вся в капельках. И уличные огни преломлялись сквозь эти капельки и казались огромными... Было тесно, Юбер встал позади меня, обнял и начал, знаешь, так... губами шею прихватывать... и еще, как ежик, сопел прямо в ухо... ужасно щекотно...

Надя была беззащитна — до бесстыдства.

Не могу сказать, что меня вдохновляла идея изучать какой-то непонятный маркетинг. Но отец заявил, мол, маркетологи — это те люди, без которых России не подняться (он вообще был в глубоком трансе от нашей новорожденной рыночной экономики). К тому же здесь не было вступительных — отбирали по досье, а уж его-то отец мне составил как надо; немножко сплутовал, да кто же поедет в Россию выяснять... Плюс он взял на себя плату за учебу (заведение было частным, а оттого платным; платным, а оттого довольно снобским: по коридорам бродили исключительно французы из приличных семей — кажется, отец и это просчитал). Словом, глупо было бы променять Париж на то, чтобы продолжать развешивать чужое барахло в театральном гардеробе. А теперь...

А теперь я ходила на лекции и понимала: не то. Ну да, увлекательное это занятие — изучать «равновесие между спросом и предложением», «экспортный маркетинг», «мониторинг рынков» и прочую нудятину. Хотелось *творить*, по обыкновению. А что тут сотворишь?

Я начинала дуться на своего хитроумного папашу, но было уже поздно. К тому же я ни о чем не жалела.

Не жалела, и это не значит, что я предала Театр. Просто он ушел глубоко внутрь. А я осталась снаружи.

С началом второй учебной недели мое одиночество кончилось. Во время перерыва я разговорилась с довольно приятной девчонкой, а спустя одну пару Николь подошла ко мне и кивнула в сторону явно собиравшейся слинять компашки:

— Пошли в кино. Прямо сейчас.

Будь мне хоть чуточку интересна эта последняя лекция, конечно, я бы осталась.

— Пошли. А куда?

Так я узнала, что такое «Гран Рекс» — один из самых знаменитых парижских кинотеатров. В моей первой французской осени навсегда — зал: стены, занавешенные темной тканью, и вокруг, в бутафорских домах, — уютно светящиеся окна...

— А когда вошел в зал, фильм можно смотреть несколько раз. А у вас?

Молодой человек с маленьким колечком в ухе шагает рядом, размахивая руками, как лыжник.

— У нас — нет. А мы опаздываем.

— Ерунда. Все равно еще реклама будет.

Когда в твоей стране эта самая реклама находится в зачаточном состоянии, будешь готов смотреть ее

часами. Даже фильма не надо. Но откуда парнишке это знать?

— А если билеты кончатся? Надо было заранее купить...

— Ну ты даешь. Как же они кончатся — зал на три тысячи. А заранее билеты в кино не покупают.

— А вот у нас — покупают!

— Зато у вас фильм два раза не посмотришь!

— Еще как посмотришь!

— Ты же сама сказала...

— А если после сеанса под сиденье спрятаться...

— А если там потом застрять...

Мы покатились с хохоту: оба, не сговариваясь, принялись изображать застрявшего под сиденьем бедолагу. Когда ребята оглянулись, они увидели двух «пораженных болезнью Паркинсона»: скрючив ноги и руки, выпучив глаза и перекосив в судороге лица, мы подергивались, давая понять, что *пытаемся высвободиться из-под кресла.*

— Слушайте, вы, паралитики! Хотите, чтобы мы окончательно опоздали?

Пришлось прекратить пугать прохожих. Мы с облегчением повращали головами, переглянулись. Вид у нас был блаженный.

— С показом тебя.

Я произнесла это по-русски, потому что не могла перевести. В «Щуке» у меня училась знакомая, она мне как-то объяснила, что сие значит. Очень просто: такое шуточное выражение... Его употребляют, если человек плохо сыграл. Вернее, так: сыграл-то он хо-

рошо, но чтобы его поддразнить, говорят: с показом! Типа, не *прожил*, а показал. Я так понимаю.

— «Spa» — quoi?

Я пояснила. Реакция была бурной.

— Spaka... zam!

— Угу. Слушай, у тебя имя-то есть?

— Есть. А у тебя?

— У меня тоже есть.

Некоторое время мы шли молча, я покусывала губу, чтобы сдержать смех. Наконец сломалась:

— Ну?

Порылся в кармане, вытащил жеваную бумаженцию. Развернул.

— А, конечно же! Даниель. Все время забываю. — Помахал бумаженцией: — Что бы я без нее делал? Надеюсь, тебе «очень приятно».

Даниель стал моим первым другом-мужчиной.

Собственно, слово «мужчина» тут неуместно. Он был совсем мальчиком, таким, как Надькин Юбер. Худой, чернобровый, смуглый. Любил носить толстовки с капюшоном, и те болтались на нем как на вешалке. Он походил на огромного птенца. Кажется, все.

С компанией я сошлась мгновенно.

Поначалу мне казалась ужасно трогательной эта манера целоваться при встрече и на прощание. Скорее даже не целоваться, а два раза коснуться щекой щеки — чмок, чмок, привет, как дела. Даже если первый раз видишь человека — чмок, чмок. Откуда

эта потребность сократить расстояние? Может, оттого, что Франция такая маленькая? У нас же привыкли держать дистанцию — видно, потому, что в России все так необъятно...

Правда, позднее я поняла — никакого сближения от обмена поцелуйчиками не происходит, это только форма, приятная такая обертка. А на первых порах я так рьяно всех обнимала (и принималась взаправду рассказывать, как дела), что ребята смеялись, ну прямо от души.

На фоне этих беззаботных юнцов Жерар определенно выигрывал. Он, что называется, был взрослым. Взрослые не забывают позвонить утром и разбудить, если у тебя сломался будильник; у них есть машины, и с ними не приходится высчитывать время до закрытия метро; взрослые — точнее, взрослые мужчины — шестым чувством улавливают, когда ты готова перекусить, — и немедля сворачивают в ресторанчик. Так что я наконец позволила Жерару ухаживать. Слегка, конечно.

Правда, до Жерара в первое время ни руки, ни ноги не доходили. Днем я училась. (Кстати, прогулы были делом единичным; к тому же бедному Даниелю за тот поход в кино здорово досталось: его отец преподавал у нас психологию, и преступление без проволочек повлекло наказание.) После занятий мы с Даниелем, Николь, Флоранс и Ксавье отправлялись в библиотеку, нетерпеливо листали умные книжки, а

затем, разморившись, двигали на поиски приключений: юность брала свое. Вернее, у них — юность, а у меня — любопытство.

Любопытство и еще — одиночество. Я будто угодила в банку с вакуумом: здесь у меня не было ни одного близкого человека. Ни одного! По мере того как терялась прелесть новизны — хотя и происходило это очень медленно, — город словно бы остывал. Он все же каменный, этот город. И ему не было до меня никакого дела.

Никому здесь не было до меня дела, кроме Жерара. В какой-то момент я поняла, что принимаю его ухаживания именно поэтому. Конечно, у меня появились в Школе друзья. Друзья. Какое странное слово. Наверно, это были всего лишь приятели. Приятели, которых я упорно пыталась *перекрестить* в друзей. Точнее, в то, что я понимаю под этим словом.

Я пыталась говорить. С Николь. С Флоранс. О жизни. О наших маленьких тайнах и надеждах. И они отвечали мне. Нет, они не уходили от ответа, как делают «всего лишь приятели». Они отвечали. Но как-то сдержанно и скупо — меня преследовало ощущение, что я лезу туда, куда не приглашали. Каждый шаг (так хотелось поговорить по душам!) давался мне с непонятным трудом, будто я нору рыла, а не просто шла вперед.

При этом никто у меня ничего не спрашивал — обо мне. О России — да. О том, что пьют и едят

русские. О зарплатах. О том, что я думаю про нашего президента. Никого не интересовало, чем я, *лично я*, живу. Или им хватало врожденной деликатности, чтобы не рыть, подобно мне, норы. Да, я заметила, они их не рыли — никогда и ни с кем.

Я казалась им излишне открытой — этакая славянская душа, которая всегда нараспашку. Открытость на грани с неприличием, как сказал однажды какой-то тип, с которым мы познакомились в кафе: я стояла у стойки и тянула горячий шоколад, он пристроился рядом... Звали типа Мажид — его родители были выходцами из Алжира. Он жаловался на то, что связался с русской, а та спустя пару лет сбежала с каким-то украинцем-строителем, ко всему прочему нелегалом. «Все спрашивала: «*Вот зачем ты живешь?*» Кто ж о таких вещах говорит. Живу, как все»...

Я никогда больше не видела этого Мажида.

Наверно, не стоило лезть в чужой монастырь со своим уставом. Да, действительно глупо — явиться к далай-ламе и начать осенять себя крестным знамением, взывая: «Благослови, батюшка!» И я перестала это делать. Я просто жила. Просто радовалась теплой осени, нашему милому, ни к чему не обязывающему товариществу, я так любила в Даньке эту его дурь, которая находилась за рамками государств и менталитетов, и — для меня по крайней мере — была визитной карточкой настоящего актера, лицедея, комедианта, человека, чуж-

дого любых условностей и рамок. Игра — это язык, выучить который невозможно, с ним рождаются. Или — увы — рождаются без него.

— Перье, вы ознакомились с понятием «микромаркетинг»?

Пока мой дружок пыхтит, пытаясь выкарабкаться, мне в голову приходит идея, достойная гения Вольтера и Руссо, вместе взятых... Я жду не дождусь перерыва.

— Слушай, Дани, а ты ведь понятия не имеешь, что значит по-русски слово «*перье*».

— Что? Что?

— Это то, что принадлежит перьям! Птичка ты наша.

— О! Я, наверно, орел.

— Сомневаюсь...

— А как переводится «лисье»?

— Ну... То, что принадлежит лисе.

— Лисе принадлежит она сама. Точно! Я буду звать тебя лисой.

— В таком случае ты не орел, а курица. Лисы кур любят... А я ж тебя люблю!

Я и вправду обожала Даниеля — за то, что он понимал меня — даже тогда, когда мой буйный юмор переходил все мыслимые границы. Да он и сам мог с пол-оборота довести меня до коликов от смеха. Ей-богу, я прямо родственную душу нашла!

Что окончательно подкупало: мы не только шутили одинаково, мы и жизнь воспринимали под одним углом зрения... я б назвала его творческим. Зачастую именно отсутствие творческого начала было для меня основанием, чтобы порвать связь с человеком — дружескую или любовную. А с Данькой мы только и делали, что паясничали, и получалось у нас это почти профессионально, между прочим.

Вот и теперь: Даниель скукожился на стуле, нахохлился. Заложил за спину «крылья». Потом выпучил глаз и принялся на меня коситься, по-птичьи рвано подергивая головой. Я не отставала: «почесала лапой за ухом», «вытянула морду» и «начала принюхиваться»: как-никак *пища* рядом... В ответ Даниель что-то утробно проклекотал. Я угрожающе щелкнула зубами. И тут Дани сорвался с «насеста» и, отчаянно кудахтая, бросился вон из аудитории. Я тихо гавкнула и припустилась за жертвой.

В общем, ничего смешного: мы мчались по коридору, что называется, *в образе* и с размаху налетели на Данькиного отца.

Я впервые увидела его.

И он произвел на меня потрясающее впечатление (думаю, что я на него — тоже, но по другой причине). У него были проницательные глаза и лицо священника. Он был светлый и строгий. Казалось, он не способен совершить гнусный или неверный поступок. («Да за такого отца сколько отдать мож-

но!» — подумала я тогда. Может, сказалась моя старая обида на собственного папашу, смывшегося, когда мне и десяти не было: лишившего меня защиты и поддержки, а маму — и того хлеще. Пока он потягивал бордо, мы с мамой торчали в «совке» и гадали: вернется — не вернется, любит — не любит). И я подумала, что люди с лицом, как у Даниелева отца, не отрекаются. Уверена, что не ошиблась... У мсье Перье был один-единственный недостаток: он не поощрял дурь.

Словом, вечером Даньке досталось.

Две недели пронеслись в полном угаре. Несмотря на опасную близость мсье Перье, мы упорно создавали собственную версию «Ну, погоди!» в варианте с лисой и курицей. На курсе к нашим ужимкам народ быстро привык и уже не обращал на нас внимания. Правда, несколько раз я ловила на себе неодобрительные взгляды (наши шутки, похоже, были смешны только нам двоим).

Эту дату я запомнила — 10 ноября. Следующий день был праздничным, французы отмечают — надо же! — конец Первой мировой войны. Позволялось расслабиться на пару дней (все-таки нас здорово муштровали).

Поскольку приятели мои пребывали в поиске работенки для студентов (не хотелось зависеть от предков), да и я сама подумывала пристроиться куда-нибудь, следовало ловить момент, пока мы

еще свободные. Решили поехать к Николь — она жила одна, родители снимали ей квартиру на Монмартре.

— Лиз, тебе надо взглянуть: Париж как на ладони. Сейчас винца только прихватим...

— Даниелю пить нельзя, — отрезала я.

В ответ раздалось возмущенное кудахтанье.

— Я ж тебе добра желаю, *куриные твои мозги*! (Дани на шутку не отреагировал; позже я выяснила почему: у французов недостаток ума ассоциируется с *птичьими* мозгами, а точнее, с *воробьиными*). Дани, — безмятежно продолжала я, — мне-то известно, что бывает с курицей, если ее подпоить.

(Я действительно видела такую курицу. Ездила на дачу к подружке, и там местные ребята каким-то образом влили бедной птице в глотку не помню какой алкоголь.)

— И чего?

— Она стоит и не шевелится. Можно подойти, погладить ее. На руки взять. (Я хищно облизнулась.) Куснуть...

— Э, нет! Ни капли не выпью! Не дождетесь!.. Тогда давай сегодня сценарий начнем писать. О том, как глупый лис не может поймать умную птичку.

— Идет! О том, как великодушный лис каждый раз дает сбежать самодовольной курице.

— Короче, как Том и Джерри! Только название надо придумать.

— А у нас, кстати, тоже есть мультик — там Волк за Зайцем гоняется. Но название я тебе перевести не могу.

— Ну переведи! Как-нибудь! Нам это так важно!

Я порылась в голове, но, кроме выражения типа «Я т-те дам!», ничего не нашла.

— Не знаю... ну, что-то вроде «Сейчас врежу!»... Но это неточно.

Даниеля от смеха чуть на кусочки не разорвало. «Вре... вре... врежу... — повторял он, трясясь. — Ну и мультики у вас детям показывают... Не могу...»

И тут кто-то тронул меня за плечо.

Я оглянулась. Рядом стоял парень — тот самый, чьи осуждающие взгляды я пару раз ловила на себе. Прямо сказать, он мне тоже не нравился. Почему — не знаю. Он вечно сидел один в наушниках с отсутствующим видом. Странный тип.

— Лиз, — тебя ведь Лиз зовут? — не могла бы ты уделить мне немного времени после занятий?

Это было что-то неожиданное. Я толком даже имени его не знала.

— Ты, кажется, Стефан?

— Да. Хотелось бы переговорить с тобой.

Я колебалась. Идея сценария манила меня куда больше, чем мысль о прогулке в обществе непонятно кого.

— Это важно?

— Пожалуй, да.

Я подумала, что, возможно, этому человеку требуется помощь. У него нет друзей, вот он и обратился к первому попавшемуся. Попалась я.

— Н-ну... хорошо.

Стефан оказался вовсе не таким противным, как мне представлялось. Правда, с чувством юмора у него было туговато, зато держался он спокойно и уверенно — такое поведение я очень ценю в людях. Ненавижу, когда суетятся.

— Я закурю, с твоего позволения?

Мы сидели в уютной кафешке неподалеку от Школы, Стефан угощал (как-никак он меня вытащил): взял нам по глубокой вазочке изумительного мороженого — чего в него только не было понатыкано: и микроскопические печеньица, и кусочки шоколада, и орехи... после целого дня учебы — как раз то, что нужно!

Говорили ни о чем (порой это обязательная прелюдия к настоящему разговору). Оказалось, Стефан на два года меня старше: в коммерции не первый день и потому решил наконец получить корочку. «Щенков», само собой, сторонился.

— Извини, это не мое дело, но вы с Даниелем довольно странно смотритесь. Особенно ты.

— Что значит «мы с Даниелем»? Между нами ничего не...

— Я не о том. Ты ведешь себя как десятилетний пацан.

— А, вот что. Жаль, что ты этого не понимаешь, Стефан. Мы *творим*. Я ни с кем раньше...

— Собственно, все это меня не касается. Начну общаться с тобой, когда ты наиграешься вволю.

Я хотела сказать, что никогда не «наиграюсь», потому что игра — это тоже стиль жизни. И вообще, что за авторитарный тон... Стефан остановил меня легким касанием пальцев: на мгновение задержал их на моей руке.

— У меня была девушка... русская. Она погибла.

Я осеклась. Зачем-то спросила:

— Давно?

— Не очень.

Мы помолчали. Теперь стало ясно, почему он выбрал меня для своих откровений. Но чем я могла ему помочь? Он заговорил снова:

— По правде сказать, она была только на четверть русская. Ее прадед осел тут после вашей революции... ну, ты, наверно...

— Конечно, знаю. Со мной та же история.

— Как?

Стефан с интересом посмотрел на меня. Я даже смутилась.

— Очень просто...

Выслушал, улыбнулся:

— Ах вот почему ты так хорошо говоришь по-французски.

— Ну да. А твоя девушка...

— Аннет.

— Аннет, она говорила по-русски? И почему она погибла?

Я подумала, что опять задаю откровенные вопросы. Но Стефан не замялся, не ушел в сторону.

— Автокатастрофа. Говорила? Нет. Понимала немного. Но меня кое-чему научила.

Мне показалось, он слишком уж спокоен. «Автокатастрофа»: ни надорванной нотки, ни налета горечи. Или хотя бы печали. Собственно, их отношения меня не касались.

— Научила? Ну скажи что-нибудь.

— Ты будешь смеяться. У меня, наверно, ужасный акцент.

Я отставила пустую вазочку и великодушно пообещала:

— Не буду. Давай.

— Н-ну... наприме-ер, *perestroika*.

— Нечестно! Это все знают.

— Ладно. *Ia tebia lublu*.

И черт меня дернул... Мне вдруг вздумалось «поиграть». Я жеманно поставила локоть на столик, оперлась о ладонь подбородком. Пристально посмотрела Стефану в глаза.

— Это правда?..

— Что именно?

— Ну, ты сейчас сказал мне...

Стефан удивленно вскинул брови, и тогда я повторила за ним, с акцентом:

— «*Ia tebia lublu*».

Наверно, не стоило так шутить. Я привыкла к вечному перебреху с Даниелем и «потеряла нюх». Стефан откинулся на стуле, улыбнулся краешком губ:

— Ты хотела бы, чтоб я тебе это сказал?

У меня возникло странное ощущение, что я увязаю в чем-то.

И я не могла понять, нравится мне это «что-то» или нет.

Условились так: я учу Стефана русскому, а он меня — всяким языковым хитростям типа фразеологизмов или пословиц. (Благими намерениями дорога вымощена известно куда.) Я заявила, что завтра жду Стефа у себя, на бульваре Бомарше. В половине пятого.

Напрочь забыла, что в семь мы с Жераром должны были уже сидеть в театральных креслах.

К занятию я не готовилась: пускай сперва научится читать кириллицу. А вот на уборку жилья пришлось налечь.

Ровно в четыре тридцать за окном нарисовался серенький «пежо». И не думала, что у Стефана есть машина. Да, я явно переобщалась со вчерашними школьниками.

— Заходи.

Он был в темно-синем грубой вязки свитере. Именно такой у меня все руки не доходили купить.

— Держи.

Я заглянула в пакет: там лежала упаковка бисквитов и под ней, на дне, пачечка рассыпного чая.

— А я думала, французы чаем не увлекаются...

— Насколько мне известно, им увлекаются русские.

Я потом еще долго не могла забыть этот жест: купить чужестранке крохотный кусочек родины в жестяной коробочке.

В половине седьмого раздался звонок в дверь.

— Это Жерар. Сейчас я вас познакомлю.

Стефан медленно разломил бисквит, поднял на меня глаза.

— У тебя кто-то есть?

Тут настало самое время взять реванш. Я снова села на стул, откинулась на спинку, прищурилась:

— А ты хотел бы, чтобы я сказала «нет»?

И затем... затем Стефан испортил мне все настроение.

Порой мне начинало казаться, что я *глобально* чего-то не понимаю в этих людях. Да, я перестала бить лбом об пол перед далай-ламой, шепча «Отче наш». Но иногда я срывалась. Как в этот раз. И даже добивалась своего. Как в этот раз. И со мной *говорили*. И я наконец чувствовала к себе интерес.

Но меня не оставляло странное ощущение, будто я делаю что-то не то. Как если бы я чистила

зубы, сев за праздничный стол. Или будто легла спать в одежде. Я делала что-то не то. Как в этот раз.

По дороге в театр Жерар принялся вынюхивать, «что за тип этот Стефан». А у меня перед глазами вертелась противная сценка: я почти смеюсь, но делаю серьезный вид: «А ты хотел бы, чтобы я сказала «нет»?»... — Я надеюсь, что Стефан мне подыграет или по крайней мере оценит шутку. Он спокойно отправляет кусочек бисквита в рот. Пожимает плечами.

— Мне все равно.

Так и заявил: «Мне все равно».

Собственно, нет ничего противоестественного в том, что молодому человеку без разницы, есть ли у его новой знакомой *кто-то* или нет. Ну и что, пусть мы два часа проговорили «за жизнь» — на одном дыхании. Пусть нам показалось (или это мне одной только): мы можем говорить до утра, серьезно и глубоко, без позерства, кокетства и дурости. Пусть это было так волшебно: спускающийся вечер, просыпающиеся огни за окном, красноватый отблеск вспыхивающей гирлянды на лицах... Ну и что. Это ничего не значит.

Это не значит, что молодому человеку должно быть дело до того, есть ли у его новой знакомой *кто-то* или нет.

И он говорит правду: ему все равно.

Мы ехали по самому центру — за стеклом вспыхивали и гасли пестрые огоньки, я никак не могла разобраться в себе... Меня заедало, что он не подыграл мне? Что «не пощадил мое самолюбие»? Что был резок без причины? Или я и вправду раздосадована, что этому почти чужому человеку нет до меня никакого дела? Он что, становится мне небезразличен? Еще не хватало!

Нужно быть слепой на оба глаза, чтобы не понять: мой чудный принцип «Пришел — увидел — победил — ушел» тут не сработает. Стефану недостает ни мягкости, ни чувственности, чтобы просто *подчиниться красивой женщине*. Он будет выворачивать все наизнанку, иезуитствовать и «ставить условия». Таких типов я всегда обходила стороной. У меня на них вообще аллергия!

В тот вечер Жерар показался мне абсолютно пресным.

Всю последующую неделю я не подходила к Стефану. Конечно, это было ребячество. Ведь тогда ничего не произошло: Жерар вошел, пожал Стефану руку, я быстро переоделась, и мы разошлись по машинам.

Сама не знала, «воспитываю» ли его тем, что игнорирую, или он задел меня, и я теперь обижена. Да, обижена. В другое время подобная «обида» отскочила бы от меня, как пинг-понговый мячик от стола. Но сейчас... сейчас мне хотелось, чтобы он — нет, конечно, не извинился (за что извиняться?) — хотя

бы проявил «признак жизни», дал понять, что его цепляет мое равнодушие. Он ведь не похож на того, кто беседует начистоту с кем попало.

Но Стефан и не думал пошевеливаться. Он делал вид, что все так и нужно. Иногда поглядывал на меня с улыбочкой (что особенно нервировало). Мне пришло в голову, что скоро я буду готова послать его к черту. А после никакими коврижками меня не прикормить. Я тоже упрямая.

В общем, чтобы не нагнетать обстановку, под конец недели я подошла к Стефану и холодно поинтересовалась, собирается ли он еще заниматься русским или нет.

Улыбнулся:

— Мадемуазель, я уже пять дней нахожусь в нетерпеливом ожидании.

Я сразу же его простила.

И все-таки мне многое казалось здесь странным — прежде всего в отношениях с людьми. Мы шли в кафешку со Стефаном, и каждый платил за себя. (С Жераром было иначе, он раскошеливался каждый раз, прекрасно понимая, что иначе я никуда не пойду: отец дал мне с собой не так много, а потом и вовсе заявил, что тут все студенты подрабатывают, а чем его дочь хуже прочих. И труд облагородил даже обезьяну. Словом, куда мне было до Жерара, коммерческого агента «Рено» по продаже автобусов: он греб деньги если не лопатой, то совком точно.)

Обычно же приходилось вести скрупулезные «счета»: я тебе должен десять франков, а ты мне — три семьдесят, даю тебе шесть тридцать. Я все думала — что же это они... От жадности? Да нет. Когда я пыталась переплатить — как-то стыдно было считаться, — все отдавали до сантима. Один Даниель был «наш человек» — когда водились деньги, мог заплатить за всех, за девчонок уж точно. А если он сидел на мели, я первая предлагала, смеясь: сегодня в Париже лисы угощают кур... откармливают! Мой приятель, довольно кудахтнув, брал себе самую маленькую чашечку кофе.

— Дани, птичка, я кое-что про тебя узнала.

— От кого это?

— От Стефа. Он меня французским поговоркам учит, а я его — русскому. Уже три недели как.

— Алфавит-то прошли?

— Почти. Да мы десять минут занимаемся, час болтаем. Но кое-что я выяснила! Например, когда все забываешь, значит, у тебя *голова*... как ее... забыла...

— ...*конопляники*! Пичужка такая маленькая. Мозгов нет.

— Вот-вот. А еще я узнала, что если почерк ужасный, говорят «пишет как кот».

— О-ля-ля. Этому и я тебя могу научить, тоже мне, профессора нашла.

— Подожди. А вот знаешь, о чем поговорка «Старую обезьяну не учат рожи строить»?

— Конечно! Типа, «нечего указывать умудренному человеку». И чего?

— А то, что по-русски говорят не «коноплянкина память», а *куриная*; пишет не как кот, а как *курица лапой*, а вместо обезьяны у нас — пернатое: «Яйца *курицу* не учат»! Понимаешь?

Вид у меня был многозначительный. Даниель вздохнул:

— Ясно! Значит, я криворукий склеротик, но с большим жизненным опытом.

Вот так мы и хихикали дни напролет. Это не было пустой болтовней, как казалось окружающим. Мы наслаждались дыханием в унисон, пониманием с полувдоха. Готовили друг другу *лингвистические сюрпризы* типа «куриного почерка», и самым важным было изложить идею с видом научного сотрудника; противоположной стороне также полагалось соблюдать спокойствие и без тени улыбки идею развить. Кто первый фыркнул, тот все и испортил.

Поначалу идеи назывались «изысканиями» — *решершами* (от французского «recherches»). Но как-то я поведала Даниелю, что в русском есть слово «шершень». И мы дружно решили, что *решершни* — это и есть наши жужжащие бредовые мысли (голова — улей), которые надо выпускать на волю, иначе можно свихнуться.

— Закусают!

Само собой, Стеф участия в сих игрищах не принимал. Он не прибился ни к одной компании: поддерживал отношения со всеми и ни с кем. В Школе

я общалась в основном со «своими» — Николь, Флоранс, Ксавье и Данькой. Правда, у Фло с Ксавье полным ходом шел роман, Николь перезнакомилась с кем только можно было — и не скучала. Так что зачастую мы с Дани были полностью предоставлены друг другу.

Что до Стефа, я или встречалась с ним после занятий, или — нередко — созванивалась. Как-то раз, уже поздно вечером, набрала его номер — попросить принести назавтра конспект. Мы проговорили целый час. С тех пор понеслось... Обычно звонила я: не допустив Жерара «на чашечку кофе» после культпохода (явно «кофеман» рассчитывал на большее), летела к телефону с порога. На том конце сразу же брали трубку. Каждый раз Стеф мягко, почти ласково произносил:

— Salut. Ça va?

Я переводила дыхание, смеялась:

— Конечно, все в порядке. Мы же виделись днем. Что могло случиться за шесть часов?

— Н-ну... ты могла влюбиться в этого своего Жерара. И уже сорок минут как мирно спать *в его объятиях*.

— О нет! Стеф, он слишком пресен.

— В отличие от меня?

— И ты хотел бы, чтобы я сказала «да»?

— Конечно. Приятно осознавать себя острым, пряным и...

— ...и страшно вредным... для желудка.

— Мадемуазель, вы, кажется, немножко людоедка. Так?

* * *

Да, со Стефом мы тоже шутили. Но делали это осторожно, если не сказать — тактично. Я уже прекрасно выучила, что можно говорить Стефану, а чего не стоит: не поймет, а если поймет, то не примет. Этот корректный юмор вовсе не был похож на буффонаду с Даниелем, но имел свое тонкое очарование... В отличие от нее он не был бесполым. Мы не выходили за границы изящного разговора мужчины и женщины. И мы никогда не говорили о наших отношениях. Вели себя как друзья, ни секунды друзьями не являясь. «Пока никто» друг другу, мы имели две перспективы — начать вести умные беседы в постели или порвать отношения. Такие сумасшедшие разговоры не могут продолжаться вечно. Они должны вылиться во что-то, иначе их ждет единственный финал — раздражение.

Я не торопилась. Мне было так хорошо — на полу, в коридоре, завернувшись в плед, в обнимку с телефонной трубкой. Кажется, Стефу все это тоже нравилось: еще ни разу не случилось, чтобы мне сказали: «Его нет».

Мы перестали встречаться после занятий: дабы не лишать себя приятной необходимости ночных полусонных разговоров. В то время я в шутку называла происходящее «телефонным романом». В то время. Не сейчас.

— Ничего себе! Мне места не хватило!

В студенческом буфете полно народу, я стою со стаканом сока в одной руке и сандвичем — в

другой. Компания уже захватила освободившийся столик и трескает салатики. Даниель похрустывает капустой:

— Садись ко мне на колени!

Усаживаюсь поудобнее.

— Дани, ты что клюешь? Где твое пшено?

— Какое пшено! Я же не обычная курица. Я ж мутант.

— Ой. Тогда не буду тебя есть.

— Сто процентов — траванешься.

— А я иду и думаю: мой *обед* за столом сидит...

— Слушай, не нервируй меня. Я нестись перестану.

И тут в буфет вошел Стефан. Наш столик был у самой двери.

Не успев ничего толком осмыслить, я соскользнула с Даниелевых колен.

— Ты чего?

Дани оглянулся, встретился со Стефом взглядом. Троица Николь — Флоранс — Ксавье даже жевать перестала.

Стефан чуть заметно улыбнулся и проследовал к раздаче. Я осталась стоять, что в полном смысле называется «как дура». Даниель перевел на меня взгляд, выпятил губу:

— Он что, твой парень?

Я напряженно засмеялась:

— Скажешь тоже. Это я на бегающую дичь так реагирую.

Даниель вяло хмыкнул. Мне показалось, что тут нечисто. Данька явно не одобрял мой «выбор». Мелькнула мысль, что у них со Стефом какой-то скрытый конфликт. И вправду, за два месяца они едва ли словом перекинулись. Может, сталкивались раньше? А может, просто были слишком непохожи.

К Рождеству Париж принялся готовиться уже в конце ноября. Он преображался на глазах: елочки у входа в рестораны и кафе, гирлянды, фонарики на деревьях, оживающие витрины... Я никогда не видела такого великолепия. Только благоразумие удерживало меня от того, чтобы начать скупать миниатюрных рождественских дедов, позолоченные колокольчики, ласковые еловые веточки в форме сердечка, усыпанные золотыми бусинами, мяконькими темно-красными бантиками, шишечками, яблочками... В Москве ничего подобного и близко еще не было. Я бродила по улицам как шальная. Ловила свое отражение в витринах — просыпающихся, дышащих ожиданием торжества. Зачарованно смотрела на заводного плюшевого медведя, бродившего за стеклом супермаркета, на бегемотье семейство, скользящее по льду из фольги, на осликов-проказников в витрине «Галери Лафайет»... Снега не было, на Елисейских Полях били фонтаны. То и дело я сталкивалась с людьми в пиджаках, с намотанными на шею длинными теплыми шарфами. Это сочетание так смешило... По

вечерам деревья расцветали: мириады искорок вспыхивали в ветвях, сгорали, вновь бежали взапуски...

Мир, едва изведанный мною, снова становился восхитительно чужим...

Да и я сама казалась себе незнакомкой. В сердце росла тихая упоительная нежность к мирозданию. Я не знала, откуда она взялась. Она походила на пушистого кота, который жил у нас, когда я была совсем маленькой. Кот был огромный и теплый. Потом пропал, и мама сказала, что он уехал в свою страну, Котляндию. Мягкий, теплый, сонный зверек. Таким и было мое сердце.

— Сегодня не удержалась, купила новенькую гирлянду. У нее целых три цвета: красный, желтый и синий. И зажигаются они по очереди. Вот, сейчас желтый загорелся. А теперь синий.

— Честно сказать, я не понимаю, зачем круглый год жечь гирлянду. Круглый год и круглые сутки.

— Вот и Жерар не понимает. Стеф, это же мой мир. Мой маленький пестрый мир.

— Он не надоел тебе еще? Придумай что-нибудь свеженькое.

— Я не люблю перемены.

— Странно. Жизнь тем и ценна, что не стоит на месте.

— Стеф, она ценна как раз своим постоянством.

— Тебе оно знакомо? Постоянство?

Я слышала, что он улыбается. Нет, оно мне не было знакомо. До недавнего времени.

— Хочешь сказать, познай я его...

— Ты заскучала бы. Очень скоро.

Ничего себе заявление.

— Постой, Стеф, давай определимся. Мы говорим о постоянстве чувств?

— Например.

— Если ты любим и любишь, при чем здесь скука? Скука — это когда рядом вроде бы новый человек, но он на одно лицо с предыдущим, и тебе бесконечно неинтересно, что будет дальше. Проходили уже...

Слышно было, как на том конце выключили бормотавший телевизор. Наступила тишина.

— От счастья тоже можно устать. И довольно быстро.

Я вспомнила Надю.

— Одна моя подружка говорит то же самое. «Если остаться в раю, он в ад превратится». Приехала сюда, влюбилась. А через неделю пришлось вернуться в Москву. Теперь утешается байками о рае и аде.

— Да нет, она права. Жизнь полосатая, и нельзя себе позволять... скажем, слишком много света.

— Чем ярче белая полоса, тем непрогляднее черная?

— Что-то вроде.

Я подумала: потеряв Аннет, он теперь просто боится боли.

Пусть это бестактно, все равно...

— Ты был счастлив с Аннет, и тебе кажется, что счастье обязательно оборачивается бедой. Это не так, Стеф. В жизни...

Он оборвал меня:

— Когда Аннет погибла, мы уже полгода как расстались. А разбилась она потому, что села за руль, накачавшись наркотиками. Кстати, мы разошлись именно на этой почве.

Я вспомнила, как он был спокоен, когда сказал тогда в кафе — в первую нашу встречу: «Автокатастрофа». Тогда я еще окрестила его бесчувственным монстром.

— Надо же... Стеф, а может... ты никогда не был по-настоящему счастлив?

Он ответил резко, почти грубо:

— Я не собираюсь обсуждать эту тему.

Он так боялся, как бы я не *перешагнула грань*, не *залезла в душу*... не узнала чего-нибудь такое, что мне не следовало знать.

— Стеф, я не ищу в тебе слабинку. Я сама плохо представляю себе это «настоящее счастье».

Слышала, как он щелкает зажигалкой, затягивается.

— Ты сейчас несчастна?

— Нет. Как раз наоборот...

— Я тоже.

Мы помолчали. Потом он добавил:

— И что тебе еще нужно для счастья?

В то время для счастья мне нужно было немного — высыпаться. В газете я наткнулась на объяв-

ление: русский книжный магазин приглашает на работу. Примчалась в тот же день, в надежде, что ищут продавца (я уже воображала себя советующей влюбленным в Россию покупателям, *что бы такое почитать*, и приучающей их к большой литературе). Нет, в книжнике мне светило только чистоту наводить. С утра, до открытия.

Не бог весть что, и деньги смешные, но — решила я — по крайней мере буду тут сама себе хозяйка. Вот Николь устроилась в большой магазин девочкой на побегушках, шмотки по размерам развешивать, так ее теперь шпыняет каждый первый. А здесь ни души с утра. К тому же русские заведуют, а это приятно. В общем, я согласилась.

И вот зрелище не для слабых: утро, темно; зевая и дрожа от холода, я открываю здоровую дверь, включаю свет. Спать хочется зверски. Проклинаю все на свете.

До выходных еще два дня...

Зачем я вчера болтала со Стефом до часу...

Нет, я так долго не протяну...

Но на самом деле трагедии нет. Ведь это не борьба за выживание. Мой ежеутренний подвиг — не от отчаяния. У меня огорчительно быстро кончились деньги, вот и все. И сколько бы отец ни рассуждал о пользе трудового воспитания, умереть от голода он своей дочери не даст. Мне просто неловко просить, поскольку я жива и здорова.

* * *

Как-то забежала сюда после учебы — подписать бумаженцию, — и столкнулась с некой Светой, та искала работу и зашла поинтересоваться, нет ли чего. Мы разговорились.

Я училась в частном заведении для толстопузых, жила почти в центре за копейки и понятия не имела, как трудно чужаку выжить в этом городе. Света обреталась тут нелегально (приехала с тургруппой из Молдавии и осталась), говорила по-французски с чудовищным акцентом и ошибками, в обмен на жилье безвылазно сидела с французским дитем, из-под палки надраивая хозяйскую квартиру («эксплуататоры!») и враждуя с мамашей ребенка, кляла Францию на чем свет стоит, но при этом домой возвращаться не собиралась — «у нас там вообще бардак и нищета, вот найду нормальную работу в баре или магазине, сразу смоюсь от крысы, только о том и думаю».

— Беда в том, что по-черному не всюду берут, а где берут, там кидают только так...

Поддерживать контакт со Светой желания не возникло. Как-то угнетающе она на меня подействовала. Я все спрашивала себя потом — как люди выживают в таком стрессе... Например, я под давлением просто не могу существовать. По утрам, вылезая из теплой постели, топая по остывшей за ночь мостовой и сонно водя тряпкой по линолеуму, я осознавала, что делаю это не оттого, что к горлу приставлен нож.

Раньше я сказала бы, что это признак силы. Теперь же задумалась — а так ли оно... Окажись я, как эта Света, — вот уж и правда в аду, — выстояла бы? Не знаю.

— Стеф, есть нескромный вопрос.

— Ну вот, опять эти русские штучки! — Стефан хмыкает. — Просто жажда какая-то до всего докапываться. Твоя фамилия, случайно, не Dostoevsky?

— О! Можно подумать, ты читал Достоевского.

— Начал «Преступление и наказание», бросил. Слишком мрачно. Очень по-русски.

Да... Приятно познакомиться — Стефан Лётюллье, специалист по проблеме русского национального характера.

— Слушай, Стеф, ты скольких русских в жизни-то видел?

Пауза. Считает, видать.

— Трех. С одним работал, с другим в компании разговорились, ты на три четверти русская, Аннет — на четверть. Итого ровно три.

— Да... Негусто.

Мне слышно, как он улыбается:

— Но поучительно: все любили на пустом месте трагедию разыгрывать. Вы же без драм не можете.

Просто смешно. Буркаю:

— И я не могу?

— Ну, кто знает. Науке пока неизвестно. Как ни странно, ты больше похожа на француженку, чем Аннет.

Никогда не думала, что я похожа на француженку.

— Как это?

— Так. Француженки независимые, делают что хотят. Ну прямо как ты, — засмеялся. — И не сказать, что мне это не нравится. Аннет же была как ребенок. Она и на наркотики подсела, думаю, оттого, что детство искала. Где проблем нет. И все у нее всегда было сложно.

— А у меня, значит, все просто.

— Не просто, а ясно. Если хочешь, у нее было мутно. Знаешь ее любимое выражение? Не поверишь. «Все плохо». «Что — плохо?» — спрашиваю. «Не знаю. Все», — отвечает. Намаялся я с ней.

Это казалось таким странным — никогда еще Стефан не был столь откровенен. Но что сбивало с толку — голос его звучал ровно, почти бесстрастно. «Старая история... от которой он устал...» Такая жалость взяла к этой девчонке.

— Почему ты ее не поддержал?

Стефан ответил не сразу. Да и то — «ответил»...

— Это и был твой *нескромный вопрос*?

Он хотел сам определять степень искренности разговора. И получалось, что я всегда пыталась пойти дальше установленных им рамок. Что ж, его право.

— Нет, нескромный вопрос был о твоей персоне. Все хочу спросить, почему ты живешь с родителями? Тебе ведь уже двадцать пять?

— Так удобнее.

Надо же. Первый раз слышу, чтобы молодому человеку было удобнее жить с мамочкой.

— Мать, кстати, из командировок не вылезает. Я несколько лет снимал квартиру, но сейчас за учебу платить надо, и никто этого не будет за меня делать. Так что решил поэкономить. Да и вообще одному жить — только расстраиваться. — Притворно вздохнул. — Девушки с чемоданами пытаются въехать, отбоя нет.

Я засмеялась:

— Независимые француженки?

Стефан хмыкнул:

— Ну да. И независимо от меня норовят делать что хотят.

Я представила себе картину: звонок в дверь, ничего не подозревающий Стеф выходит из душа, обернувшись белым банным полотенцем, открывает замок; на пороге стоит толпа роскошных блондинок в окружении сумок — как только дверь распахивается, все с криком «Шери-и-и!» бросаются в квартиру, сметая на пути все, включая Стефа в полотенце.

— Значит, француженки своевольничают... А русские что? Ждут, пока их позовут?

Я совсем не знала, что он думает обо мне. Возможно, именно это — будто я жду от него чего-то. В стиле затюканной восточной женщины. Было бы забавно. Стефан засмеялся:

— Ну... пойди пойми, чего они ждут. Науке пока неизвестно.

— Но ученые над этим работают...

— День и (посмотрел на часы) ночь.

— Значит, кролика подопытного завели себе...

— Крольчиху. Пушистую и независимую. Француженка, да и только.

На первую пару я опоздала — метро забастовало, поезда ходили раз в полчаса, а моя ветка вообще встала. Не знаю, как добирались другие, я потопала пешком. И вот дошла.

Бежала по пустынному коридору. Дверь в одну аудиторию была приоткрыта, я внезапно остановилась, замерла. Тихонько подошла, заглянула. Данькин отец стоял, опираясь руками на спинку стула, балансировавшего на двух ножках.

О чем говорил мсье Перье, я сейчас, конечно, не помню. Но *как* он говорил! В его голосе было такое глубинное спокойствие... Нет, даже больше: *покой*. Покой был в улыбке. В жестах. В том, как он смеялся. В его руках, поймавших футбольный мяч (как-то в перерыве между занятиями мы высыпали на улицу, и ребята затеяли играть в футбол). В том, как он здоровался. Как надевал пальто.

Я смотрела на него и думала: не о том ли мне толковал Стефан? Мудрость чурается крайностей. «Счастье» и «несчастье» — слишком грубые понятия. Нужно научиться жить между... Но...

Но чем-то *покой* господина Перье отличался от спокойствия Стефана. Чем?

Чем... Я пока не знала.

* * *

Перед собором Парижской Богоматери — аккуратные кучки туристов. То и дело от группы отделяется кто-то, делает пару шагов в сторону и замирает с приятным лицом. Щелкает фотоаппарат. Экскурсовод вдохновенно частит:

— Éstato Augusto Rodin a dire: «Le cattedrali sono la Francia!». È veramente così...

Даниель тычет пальцем куда-то вверх:

— Видишь балкончик? Ну вон же, на Нотр-Дам смотри! А морды там видишь? Да не туристы! Химеры! Хочешь зверюгу погладить?

Бежим, взявшись за руки, к собору. На ходу отмечаю про себя: в среднем портале — рельефом — Страшный суд. Христос; под ним — души: одни, чистые, возносятся на Небо; другие, грешники, закованные в цепи, проваливаются в ад... Так им и надо.

Улыбаюсь. Все-таки дурацкая эта Стефова теория о полосатости жизни. О том, что за «райским блаженством» обязательно последуют «адские муки». Потому что, если ты попал в подлинный рай, никто у тебя его не отнимет. Никто, кроме тебя самого.

— Четыреста двадцать ступенек! Чур не останавливаться!

Дани срывается с места и исчезает за поворотом лестницы, ведущей в царство химер. Я хватаю сдачу и билетики:

— Эй! Нечестно!

Но Даниель уже далеко, только ботинки топочут. Семеню следом — виток, другой, третий, считаю ступеньки (обманули или нет?) и — ух ты! — вырываюсь в свет и день...

Вот они, владения Квазимодо! Узкий балкончик с частой решеткой (чтобы никто, не дай Бог...). Смотрю сквозь прутья: высоко. А вдруг правда — про Эсмеральду и то, что он за ней на веревке — вниииз?! И еще — химеры... Они ведь уже тогда были. Надо же, до чего недобрые «лица». Глаза пустые — без зрачков, глядят перед собой: на город, в бесконечность. На город! Серые, серые крыши до горизонта... И под крышами, даже на крышах — армии окошек, стройные ряды, каждый ряд — как застежки на пальтеце. Дома застегнуты: зима. А за каждой застежкой — жизнь. Между домами — улочки, поцарапанные пешеходными переходами. Ползут автомобильчики. Вывески, вывески. Чуть правее — сквер (дорожки, лысые деревца): можно монетой накрыть, пяти сантимов хватит. А сверху — бесцветное полотнище, бледное небо декабря. Хочется взять в руки этот легкий мышиного цвета город, рассмотреть весь, весь. Ай! Так шарахнуть по плечу может только Даниель.

— Пошли, кое-что покажу.

Проходим по балкончику вперед, и вот первая «пробка»: на повороте так тесно, двоим не разойтись. Три японки гуськом — навстречу, дружное «экусукюзуми». Под ногами, на этом самом повороте, камень протерт миллионами стоп: после дождя

эта чаша наверняка до краев — попробуй перешагни. Заворачиваем за угол — и снова балкончик, химеры, город, сырые облака.

— Иди сюда!

Мы внутри, под башней. Дани — впереди, широкими шагами, я за ним — по какой-то лесенке. И вдруг: колокол, гигантский — с огромным вывешенным языком.

— Это в него бил Квазимодо?

Даниель смотрит на меня как на маленькую.

— Ага, тут четырнадцать тонн, знаешь, сколько этих квазимод нужно было бы? Целый... инкубатор!

— Вечно ты о своем, о курином... — Однако жаль, что Гюго все выдумал.

Я на всякий случай пытаюсь толкнуть громадину: куда там...

Мы снова на балконе.

— Давай прикинемся химерами!

Данька высовывает кончик языка, кладет голову на ладони и утыкается бессмысленным взглядом в одну точку. Похоже!

Рядом высится настоящая химера. На спине — крылья, перо к перу, и спина у нее с прозеленью. Ставлю локти на решетку, высовываю язык: теперь я тоже химера. Стоим. Поначалу туристы не обращают на нас внимания, потом кто-то начинает хихикать. Пожилая женщина качает головой: «Вот выдумщики!» Не меняя положения языка и осоловелого выражения глаз, медленно направляемся на выход.

* * *

В последнее время мы нечасто выбирались куда-то: я к четырем часам принималась отчаянно зевать и клясть себя за то, что вчера болтала со Стефом до полуночи; Николь после занятий летела в свой магазин; Фло подрядилась забирать из школы двух девочек-близняшек... словом, не до тусовок было. Лоботрясничал один Данька (его отец считал, что учиться надо, а не поденщиной заниматься), чем вызывал лично у меня легкую зависть — беззаботный и жизнерадостный, как пятимесячный щенок. Он был самым младшим среди нас, и ребята посматривали на него снисходительно... но именно благодаря ему компания не распалась — он упорно подбивал нас на вылазки, и иногда мы выползали, как в этот раз. Теперь мы с ним стояли на площади перед Нотр-Дам и отчаянно крутили головами.

— Ну вот, всех потеряли.

— Может, они внутрь пошли?

Поначалу я даже не поняла, что произошло. Мы перешагнули порог собора и тотчас окунулись в иной — вовсе не праздничный — мир. Внутреннее бытие храма настолько контрастировало с предновогодней суетой города, что я остановилась... взглянула на Даниеля... С него тоже слетела вся веселость. В этой тихой торжественности просто диким казалось бы любое кривлянье.

Вздрагивали свечи.

Фрески на стенах казались ирреальными, огромными, строгими. На них плясали отсветы пламени. Глаз никак не мог настроиться на полутемь. Тяжелые каменные стены обступили нас... мы тихонько пошли вперед, высматривая ребят.

Никого не нашли.

— Дани, давай поставим по свечке. Раз уж мы здесь...

У них все по-иному. В русской церкви — поджигаешь фитилек, оплавляешь ножку и погружаешь ее в позолоченное гнездышко. Тут — совсем другие свечи — низенькие, круглые.

Очень много было свечей, очень. Может, мне сейчас так кажется... Но я же обещала Даньке запомнить это, я не могу ошибаться.

Он сказал: «Лиз, давай будем смотреть друг на друга сквозь пламя. Целую минуту. И запомним ее на всю жизнь. Понимаешь? Всю жизнь будем ее вспоминать!»

Пламечко дрожало перед его лицом, таким серьезным, что я едва не улыбнулась. Всегда казалось, Данька только и может, что дурачиться...

Стояла и запоминала эту минуту. Этот день, этот месяц, эту чудесную осень. Запоминала химеру, стул, балансирующий на двух ножках под руками мсье Перье, недавнее — «Ты сейчас несчастна? — Наоборот... — Мягкое, почти нежное: — Я тоже...», запоминала площадь Бастилии, возле которой жила, Латинский квартал, где обожала бро-

дить, рождественскую витрину «Галери Лафайет» с заводными осликами, фонтаны на Champs Elysées, свою комнатку, вспыхивающую красным, желтым, синим, мороженое, что мы ели со Стефом в кафешке недалеко от Школы и которого еще гору съедим; запоминала это пленительное предощущение любви. Золотое преддверие счастья, так пугающего Стефа. Пугающего, потому что — неизведанного.

В середине декабря позвонила Надя. Она взяла билет на двадцать пятое, но родители Юбера, как выяснилось, праздновали Рождество дома. И только после отчаливали на неделю. Надя сообщила, что Юбер встретит ее в аэропорту, а потом они завалятся ко мне. Скинут вещи, а там уже решат, двигать куда-то или остаться в моем скромном обществе. Мне показалось, Надя надеется, что я уйду. Но Рождество — праздник семейный, и молодежной компании в моем поле зрения не образовалось. Все намеревались сидеть по домам с тетушками, кузинами и прочими родственниками. К Жерару приезжали родители, он рвался меня с ними познакомить, так сказать, за бокалом вина, но мне только этого не хватало... Жерара с сородичами.

В общем, после телефонного разговора с Москвой я отправилась на поиски рождественских подарков для Нади с Юбером. По этой парочке я даже соскучилась...

* * *

Я яростно вскрывала упрямую консервную банку с зеленым горошком, когда раздался звонок в домофон.

Надька налетела на меня, расцеловала, сунула в руки пять пакетов: «Это фрукты, это шампанское, это не помню, это тебе подарочек, это салатики уже готовые, там еще красная рыба на дне...» Юбер традиционно чмокнул меня два раза в щеки. Он был оживлен и стеснен одновременно. Но через четверть часа распоясался: они с Надей передвигались по квартире исключительно в обнимку и периодически в затяжном поцелуе. И меня это не раздражало.

Когда Юбер понес очередную тарелку в комнату, а мы с Надей остались на кухне одни, я подмигнула ей:

— Слушай, а в раю все-таки неплохо, а?

Надя сунула за щеку кусочек соленого огурца.

— Это ты к чему?

— Сама ж по телефону сказала: как бы он адом не обернулся...

— Ну, это был элемент аутотренинга!

— Кстати, ты мне притчу обещала рассказать.

— А! Помню. — Надя протянула Юберу следующую тарелку. — Слушай. «Притча о Саксофонисте»...

Жил-был плохой Саксофонист. Не то что безнадежный, но так себе. Его вечно оттесняли, солировать никогда не давали, и он был страшно обижен

на всех и вся. Потом помер. Но так как он был «ни рыба ни мясо», Бог ему и говорит: «Выбирай: хочешь — в рай, хочешь — в ад». Тот решил сперва осмотреться. Приходит в рай. Там птички поют, ангелы носятся. Тишина, покой. «Вот скукотища, — подумал Саксофонист. — Посмотрю, что в аду делается». Приходит в ад, а там джазовый оркестр играет. «А можно мне с вами?» — спрашивает Саксофонист. «Конечно, — отвечают ему. — Даже нужно. Соляк хочешь?» Саксофонист помчался к Богу: так и так, остаюсь в аду, мне там соляк на саксофоне обещали. Бог говорит: «Ну ладно. Только потом в рай уже не просись». Саксофонист: «Да Ты что! Меня же всю жизнь зажимали! Вот я сейчас отыграюсь!» И побежал в ад.

Там ему тотчас выдали саксофон: играй на здоровье! И начал Саксофонист дуть в эту свою трубу. Час играет, два, три — никто его не прерывает. Хорошо! Уж вечер наступил, потом ночь... Саксофонист ничего вокруг не видит, знай себе дудит. Сутки проходят, вторые, третьи... Тут Саксофонист почувствовал, что сыт по горло. Говорит: «Все, ребята. Наигрался. Спасибо вам». А черти ему в ответ: «Да ты играй, играй!» Он подудел еще немного, без всякого энтузиазма. Говорит: «Здорово. Но меня от этого саксофона уже тошнит». А черти: «Ты, дорогой, теперь *вечно* будешь играть. Это и есть твой ад»...

* * *

Было начало десятого. Я шла по залитому огнями городу. Люди спешили... я не попадала в ритм праздничного бытия. Мне нужно было подумать... Я медленно шла по бульвару Оссманн.

Перед уходом сказала: пойду проветрюсь... часика через полтора вернусь. Этим стосковавшимся друг по другу хотелось остаться вдвоем... Надя посмотрела на меня с благодарностью. Так забавно.

Это была моя первая в жизни бесснежная зима: то моросил, то переставал дождик — с трудом верилось, что через неделю — Новый год. Может, оттого меня не оставляло странное ощущение потерянности.

Дошла до «Галери Лафайет». Остановилась у своей любимой «живой» витрины. За стеклом резвилась ослиная детвора. Играла тихая радостная музыка. На полосатом, как арбуз, ди́ванчике два ослика поочередно тянули в разные стороны стеганое одеяльце. Третий ослик ловил в аквариуме золотую рыбешку с серебряной короной на голове. Четвертый, как собака, гонялся за собственным хвостом. Пятый играл на малюсеньком пианино и, по-видимому, пел. Еще двое, расположившись на балкончике прямо над певцом, трясли вспоротую подушку. Перышки были, словно бусины, нанизаны на ниточки, и эти ниточки мерно двигались

вверх-вниз. Еще один ослик сидел за мигающим компьютером. Компьютер у него, судя по всему, завис: ослик упорно бил копытцем в одну и ту же клавишу. Но больше всех мне полюбился печальный малыш в синем, в белый горошек, галстуке-бабочке. Он сидел в углу совсем один. Перед ним высилась пирамидка из кубиков. Верхний кубик постоянно падал, и осленок терпеливо водворял его на место. Кубик падал вновь...

Я подумала, что Стеф — не более чем милый упрямец. Дело не в том, что он боится мрака, который неизбежно придет на смену свету. Мрака, что будет так же глубок, как свет — ярок. Просто он боится, что свет рано или поздно начнет гаснуть... медленно гаснуть. Он боится, смертельно боится скуки и однообразия... Боится оказаться Саксофонистом, подавившимся собственным счастьем.

Какая нелепость: отказаться от любви, чтобы она не таяла в твоих руках! Не строить дом или пирамидку лишь оттого, что не желаешь видеть, как они падут...

А ведь нужно так немного. Просто взять и шагнуть в эту теплую реку. Просто отдаться ее течению. Просто закрыть глаза. Стеф, послушай, я и сама вечно всему сопротивляюсь... Стеф, пора остановиться. Нам столькому надо научиться у Жизни — у любви,

у неба, у преисподней, у осликов, упрямо выстраивающих свои детские пирамидки счастья... Стеф, мы сумеем. Вот увидишь, Стеф.

Он как-то сказал, что живет у станции метро «Mairie d'Issy». Далековато. Но какое это имеет значение?

Точного адреса у меня не было. А звонить я не хотела. В таких случаях надо приезжать, и всё. Ломать рамки псевдоприличия... Тогда этот вечер запомнится на всю жизнь.

Думала купить что-нибудь к столу: наверняка семья в сборе — неудобно с пустыми-то руками. Но потом решила, что любой тортик будет намеком на то, чтобы мне выдали вилку, тарелку и слюнявчик. А так — Стеф выйдет из-за стола, накинет куртку, бросит: «Я ненадолго». Мы спустимся по лестнице, ни слова не говоря. Мы просто пойдем по улице. Не попадая в ритм праздничного бытия...

Стефан сказал как-то, что живет напротив отеля: мол, разругавшись с домашними, можно уйти из дома в пижаме... переходишь дорогу — и есть где переночевать. Он шутил, а я запомнила. Второй этаж... там разберусь.

Это было так приятно: на днях я купила-таки вожделенный свитер: синий, грубой вязки — как у тех художников... в точности как у Стефана. И се-

годня впервые надела его. Может, я выглядела и не очень празднично. Но какое нам со Стефом дело до этого?

Когда я вышла на станции «Mairie d'Issy», дождик снова закапал.

Стояла на пустынной улице. Моросило. Горели фонари. Я и не думала, что к человеку можно испытывать такую почти мучительную нежность. Тихо пошла вперед, вспоминая. Пачечка чая; настороженное: «Разве у тебя есть парень?»; такое смешное «*Ia tebia lublu*»; чуть заметная улыбка — когда я соскочила с Данькиных колен; ежевечернее мягкое *Salut. Ça va?*; и как-то, когда мы долго молчали в трубку, — тихое, улыбчивое: «И что тебе еще нужно для счастья?»... Стеф, я скоро позвоню в твою дверь.

Ты откроешь. Ты удивишься.

Мне останется только подойти и ткнуться носом тебе в плечо.

Два человека рядышком, совсем близко — в одинаковых темно-синих мешковатых свитерах... наверно, это и есть сама любовь.

Я шла по улице. Было тихо, тепло и сыро.

— Вы пофните наффание оффеля?

— Нет...

— Как же фак! А мофт? Мофт там ефть?

Щекастый низенький дядька говорит так, будто у него во рту горячая картошка (может, и правда?). Вздыхаю:

— Про мост мне ничего не «изффестно»...

Дядька чешет репу, затем подводит итог:

— Фот фто. Оффель ефть за мофтом. Фам фейфяф напрафо.

Благодарю дядечку, сворачиваю. Вслед мне несется:

— Ф Рофдефтфом!

Ах вот ты какая, любовь. Тебя так много. Ты готова поглотить весь этот звенящий хрусталем город — с его жареной гусятиной, шоколадом, нетерпеливым ожиданием подарков, предновогодним дождиком, загадочными отелями на крайних станциях метро, дядечками с горячими картофелинами за щеками; со всеми девчонками, мечущимися в свете фонарей по пустынным улицам — шепчущими имя твое, любовь.

А я думала, мне не оказана эта Божья милость — познать тебя. Думала, вечно буду стучать в двери, повторяя: «*Дай!*»... Нужен был Париж, славное Юберово королевство, чтобы я впервые проронила: «*Возьми!*» Возьми, Стеф; с тобой я никогда не буду считаться.

Вышла к старому мосту. Сердце заколотилось: ничего похожего на гостиницу и — ни души. Я по-настоящему потерялась.

Потом все было как во сне. Около одиннадцати две веселые дамочки погрузили меня, отчаявшуюся, в машину и за пять минут доставили к отелю

«Campanile». Предварительно мы добили початую бутылку шампанского. Это было кстати: на трезвую голову я не решилась бы ввалиться в чужой дом на ночь глядя.

У подъезда стоял серый «пежо», потемневший от дождя.

— Здравствуйте.

Молодая симпатичная женщина окидывает меня взглядом, улыбается:

— Что ж вы стоите, входите скорее! Вы Элен? Раздевайтесь... Сейчас я позову хозяйку. Мы уже за сладкое принялись! Вам надо было хоть часом раньше прийти... Да снимайте же куртку!

— Я... не знаю... вообще-то я к Стефану...

— Вот как? Вы не Элен? Все равно проходите. А Стефа я сейчас позову.

Она ушла куда-то по длинному коридору, я расстегнула куртку и замерла.

Он медленно шел ко мне. Серенький, тонкий, на вид очень мягкий пуловер с треугольным вырезом; из-под него — воротничок белой рубашки. Таким я его еще не видела.

Ничуть не удивленное:

— Привет. Давай куртку.

— Но... но я не одета, Стеф.

— Ладно, садись за стол в куртке. Я скажу: «Это Лиз, она из России. И со странностями». Все уже перепились, никто не удивится.

Я осталась в свитере.

— Пошли.

Он повел меня в гостиную. На ходу тронула его руку:

— Стеф, я хотела поговорить.

— Но кофе-то выпьешь?

Он был совершенно трезвый. Как обычно: трезвый и сдержанный. Он странно смотрелся среди развеселых подвыпивших людей. Его мама в расспросы не пустилась, только спросила, как зовут, отрезала кусок бисквитного торта, облитого шоколадом, протянула мне тарелочку.

— Садитесь напротив Стефана. Вам кофе с сахаром или без?

Я чувствовала, что Стеф смотрит на меня через стол не отрываясь. Ломала торт на кусочки, отправляла их в рот. Наконец подняла глаза.

Стеф и вправду смотрел на меня. Не улыбаясь. В руках у него было большое зеленое яблоко, которое он, не глядя, резал на дольки. Некоторое время мы смотрели друг на друга. Потом Стеф встал и вышел. Я еще немного попялилась в тарелку и выскользнула следом.

В комнате, оказавшейся спальней, какая-то женщина говорила по телефону. Я опять метнулась в коридор. И только тогда заметила приоткрытую дверь. Осторожно толкнула ее.

Стеф сидел посреди комнаты на крутящемся стуле и курил. Я остановилась на пороге.

— Можно?

— Заходи.

Вошла, опустилась на тахту.

— Это твоя комната?

— Моя.

Покрутила головой.

— Уютно.

Встала, подошла к столу. Над ним была полочка со всякой канцелярской всячиной. Упавшая фотография. Я машинально взяла ее в руки, чтобы рассмотреть. Она покрылась тонким слоем пыли: видимо, лежала не первую неделю. На снимке Стеф обнимал за плечи смеющуюся брюнетку. Я заметила, что головы у них немного наклонены друг к другу. Зачем я только взяла в руки эту фотографию?

Осторожно положила ее на место, оглянулась на Стефана. Он смотрел на меня, чуть улыбаясь. Глупо было бы делать вид, что я ничего не видела.

— Это ты... с Аннет?

— Нет.

— А-а...

Мне вдруг расхотелось ударяться в признания. Вообще всего расхотелось. Стефан подъехал на стуле к низкому столику, неторопливо стряхнул пепел в пепельницу.

— Это моя кузина. Ей всего четырнадцать, а выглядит на все девятнадцать.

— Да? Да... взросло выглядит...

Возникло желание его поблагодарить, непонятно за что.

— Стеф.

— Я слушаю.

— Стеф, со мной что-то случилось.

— Случилось? Ты же сама говорила: «Что со мной может случиться за вечер?»

— Стеф, я серьезно.

— Я тоже.

Он продолжал играть, он не понимал, что игра кончена.

Тихо затренькал телефон — я подумала: как некстати женщина в спальне закончила разговаривать. Но Стеф не шелохнулся, чтобы взять трубку. Я с облегчением улыбнулась:

— А мне казалось, что в этом доме на звонки отвечаешь ты.

Стефан смотрел на меня пристально, с легкой улыбкой. Не спеша затянулся, выпустил дым:

— Нет. Не всегда. Это зависит...

Негромко стукнули в дверь:

— Стеф? Тебя.

Протянул руку за трубкой:

— Спасибо, Лоранс. — И мне: — Извини.

Я кивнула.

Пока он говорил, прошла по комнате, встала у окна. На улице было темно. У самого стекла росло дерево, и взгляд выхватывал несколько освещенных влажных веток; вдалеке мигала иллюминация.

Мелькнула мысль, что я снова лезу в чужой монастырь с собственным уставом: ввалиться без при-

глашения — варварство для француза. Ладно. Что сделано, то сделано.

Смотрела в окно, думала... Потом оглянулась — Стеф сидел ко мне вполоборота и записывал в блокнот чей-то адрес. Возникло дикое желание подойти к нему и нырнуть пальцами в волосы. Но это было бы, пожалуй, чересчур. Я, конечно, «сумасшедшая русская», но пусть уж лучше оно само собой произойдет...

— Как ты меня нашла?

Тон был скорее фривольным, нежели доверительным.

— Так. В КГБ справки навела. Стеф, нам надо поговорить.

И тут что-то произошло. Словно бы воздух стал прозрачным. Или даже исчез совсем. Я не поняла, как внезапно очутилась в пустоте.

Стеф произнес одно лишь слово. Вопрос. Он задал мне вопрос. И в звуке его голоса были и сожаление, и досада, и даже налет горечи. Он больше не смотрел на меня, не улыбался — просто крутил в пальцах карандаш, которым только что писал.

— О чем?..

Еще бы он не понимал, о чем. А может, с ним, как и со мной, еще не случалось это чудо? Вот он и шарахается как от чумы...

Я не знала, с чего начать.

— Стеф.

— Да.

— Ты любил Аннет?

Вопрос был бестактным, но вполне уместным. Стефан бросил на стол карандаш, выбил из пачки сигарету.

— Ее — да.

Что значит «ее — да»? Почему нельзя ответить нормально? Я забеспокоилась. Пошла, села на тахту.

— А... — Я запнулась. Нет, тут было что-то не то. Я ждала совсем иного.

— *А сейчас кого-нибудь любишь?* Ты это хотела спросить?

У него была отвратительная повадка ставить собеседника в неловкое положение и наблюдать за ним. Я почти огрызнулась:

— Да. Любопытно узнать.

— Могу рассказать, почему я к тебе подошел.

Я подумала: наверно, у него такая манера иезуитская — ходить вокруг да около. Но выбирать не приходилось.

— Расскажи.

Стеф щелкнул зажигалкой, затянулся. Он снова расслабился, опять появилась эта легкая улыбка, непонятно что означающая.

— Недели две я к тебе присматривался. Поначалу ты была одна. Иностранка как-никак. Но тебя это не смущало. Мне интересны люди, которым до-

статочно самих себя. А потом сколотилась эта ваша компашка. Но на самом деле ты не сошлась ни с кем. Разве что с Перье вы...

Я заторопилась:

— Сказано же: с Даниелем у нас ничего нет!

— А зря. Вы идеально друг другу подходите.

У Стефана был банальный приступ ревности. Так мне показалось в ту минуту.

— Что значит «а зря»?

— Я уже объяснил. Ну, Бог с ним. Так вот, ты была такой свободной. До кончиков пальцев.

Стеф замолчал. Он просто сидел вот так передо мной и курил.

Я не понимала, к чему он клонит. Это вызывало почти физическую боль. Наконец я выдавила:

— И что?

— Знаешь, — Стеф затушил сигарету, но все тыкал и тыкал ею в пепельницу, — ты была слишком беспечна и неуловима. Просто восхитительно беспечна и неуловима. — Засмеялся. — Восхитительно или оскорбительно... Захотелось поймать.

Любят же мужики кичиться своими «подвигами». Это от слабости. Я хмыкнула:

— Захотелось поймать и посадить на булавку...

Стефан вскрыл новую пачку «Голуаз блонд», достал очередную сигарету: я подумала, что он никогда столько не курил. Пока следила за его руками, не заметила, как изменилось выражение его лица. Теперь он был то ли грустен, то ли почти зол.

— Хуже.

Я насторожилась.

— Что — хуже?

— Хуже, чем *посадить на булавку*.

Я нервно засмеялась.

— Что может быть хуже? — Решила ему подыграть. — Для меня?

Стеф смотрел как будто даже задумчиво. Он то ли слова подбирал, то ли не решался продолжать. Наконец бросил взгляд на сигарету, которую держал в пальцах, сунул ее обратно в пачку, откинулся на спинку стула.

— Захотелось поймать и... отпустить.

— Отпустить?..

— Да. Как я понимаю, сейчас для тебя это хуже всего. Но я правда не могу тебе ничем помочь.

Слезы подступили жестокие, колючие. Я знала: такие не приносят облегчения.

— Ты... можешь радоваться... своего добился...

Стефан оборвал меня:

— Мне нечему радоваться. И я ничего не добивался. Просто жил, и все. Извини, но я не звал тебя. Не обещал ничего. Разве не так?

Если бы у него мелькнул хоть намек на улыбку, я залепила бы ему по физиономии. Но он сидел и спокойно смотрел на меня.

Кое-как намотала шарф. В рукава куртки попала с третьего раза. Когда уже вышла не лестничную клетку, он бросил мне вдогонку:

— Извини.

Не хотела оглядываться, но оглянулась. Стеф стоял в дверях и улыбался. Мне было без разницы, какая это улыбка — виноватая или победная. Я вернулась и съездила ему по физиономии.

Домой притащилась под утро. Первый поезд метро шел пустым, двери вагона не шелохнулись семь остановок подряд. Подъезжая к станции пересадки, я медленно прошла между пустых сидений, взялась за дверной рычажок, повернула... Двери расступились, хлопнули выстрелом. Я вздрогнула, как какая-то истеричка, ей-богу. Внутри поселилась противная нервная дрожь, я никак не могла унять ее. Пересела на «Montparnasse», не помню, как доехала. Хотелось согреться, хотелось спать. Два перебравших типа попытались со мной познакомиться, но быстро увяли. Я представляла из себя жалкое зрелище... И вот я дома.

Заглянула в комнату: Надя с Юбером спали. Прошла на кухню, включила чайник.

Тогда, в рождественскую ночь, я успевала на метро. Но мне даже и не думалось о каких-либо рациональных действиях. Выбежала на улицу. Надо было немедленно остановиться, застыть, окаменеть — чтобы снова, с болью и удивлением, прожить в памяти последние полчаса в доме напротив отеля «Кампаниль». Я завернула в первый попавшийся двор, села на сырую чугунную оградку.

Около трех на улицу высыпала хохочущая компания; кажется, среди ночи они собрались пускать петарды. Я встала и побрела прочь.

Как вспугнутая уличная собака.

Вот тебе и любовь.

II

Я и не подозревала, что могу быть такой злой. Такой мстительной. Подумать только: дождаться первой любви — и получить отказ... отказ *красивый, со вкусом*... унизительный. Было ясно — Стеф просто раскрутил меня. Но от этого легче не становилось. Сейчас я уже не понимала, что испытываю к нему. Наверно, похожее чувство возникает у ребенка, разглядывающего большую пушистую белку в витрине дорогого магазина. Можно протянуть руку, коснуться стекла. Можно поныть, дергая маму за рукав. Можно... делать все, что угодно, но это не поможет тебе. Белка не твоя, и твоей никогда не будет. А самое грустное даже не это. А то, что как-нибудь ты увидишь ее, такую выстраданную тобою, в руках чужого мальчишки. Обыкновенного чужого мальчишки. Мальчишки, который ничем не лучше тебя!

Помимо того, пришел счет на телефон за последние два месяца. Я знала, что городские звонки

платные, но особо не задумывалась над этим. И теперь мне посекундно расписали наше со Стефом «воркование». Надо было где-то взять деньги.

Деньги. Иногда мне казалось, что тут все только о них и пекутся. В нашей компании одни мы с Данькой тратили их легко. Остальные предпочитали пить кофе у стойки, нежели садиться за столик — так дешевле. Жерар не бедствовал, но экономил на всякой мелочи. Как-то купил упаковку гвоздей и обнаружил внутри два погнутых. Потащился менять! Я с грустью констатировала, что Стеф-то мне почти никогда не звонил. Он только отвечал на мои звонки и висел на телефоне с легким сердцем. Ведь *это ему ничего не стоило.*

После долгих размышлений я решила поговорить с отцом в надежде, что он подкинет немного деньжат: в книжном магазине я зарабатывала «на булавки». Но не успела я открыть рот, как отец радостно заявил, что вложился в покупку новой квартиры у черта на куличках — три огромные комнаты, два санузла, строители уже роют котлован, а значит, через полтора года выползем из нашей дыры.

Не нравилась мне эта затея. И потом, я любила нашу старую квартиру... Но на тот момент мне не до того было. Отец отказался финансировать мое существование. Нет, за учебу платить обещал, а вот остальное... «Для студента во Франции жить за свой счет — естественное дело, — затянул он старую песню, да так бодренько, что было ясно —

— Еще бы. Стефан этим отличается. К тому же он ни с кем не общается, кроме тебя, но «как дела» спрашивает у всех подряд.

— Во-первых, я с ним уже не знаюсь, вот еще, очень было надо. А во-вторых, мне кажется, что если ему и вправду начать рассказывать, как дела, можно получить по лбу.

— Или по уху.

— Или по носу.

— Или по глазу.

— Или по зубу.

— Или... ой, нет, не будем об этом. Даже подумать страшно, куда он может пнуть с досады.

— Да... в крайнем случае отдавит ногу.

— Вот так: бдж-ж-ж!

Данька шарахает мне ботинищем по ноге. Взвываю от боли:

— Уй-я-а-а! Ты что, свихнулся?

— Я временно стал *им*. И не удержался.

Тру ноющую ступню.

— Это на него похоже: двинуть ни за что ни про что порядочному человеку.

Дани оглядывается, затем шепчет заговорщически:

— *Он* смотрит прямо на нас! Догадался, о чем мы! Теперь нам крышка!

Я отвечаю так же таинственно:

— А мы придумаем *ему* прозвище, и *он* будет думать, что речь о ком-то другом! Я даже знаю, как

нам *его* звать! Я тебе говорила, что значит по-русски звукосочетание «са ва»?

— Не-а.

Я перевела на французский.

— Вот это да! *Он* — натуральная сова! Решершень! Знаешь, какое у слова «сова» есть старое-престарое значение? Мне отец как-то сказал.

— Ну?

— Точно — про *него*! *Нелюдим!*

— Нелюдима вы вроде бы медведем называете...

— Ну так это сейчас. А двести лет назад говорили — сова.

Мелькнуло воспоминание: я хожу из угла в угол и к очередному конкурсу в Щукинское разучиваю отрывок из рассказа Тургенева «Бирюк». В комнату заглядывает мама: «До чего мне этот твой «Барсук» осточертел, замолчи на пять минут, ради Бога!» Живи она в начале девятнадцатого века в Орловской губернии, разве спутала бы волка, нелюдима-одиночку, с полосатым толстяком, шерсть которого только и годна что на изготовление кисточек?

Я чуть не позабыла о своих горестях. Славное тогда было время... Полное надежд, как избито это ни звучало бы. Интересно, а помню ли я еще хоть что-нибудь? Ну а как же! «Куда? Стой!» — загремел вдруг железный голос Бирюка. Другой голос закричал жалобно, по-заячьи... Началась борьба. «Вре-ешь, вре-ешь, — твердил, задыхаясь, Бирюк, — не уйдешь...» Мне почему-то вдруг резко полегчало.

— Значит, сова, говоришь...

Глаза у Дани горели, как сказал бы классик, недобрым огнем.

— Да... А ведь он и правда похож на сову. Как мы этого раньше не замечали!

На сову Стефан и близко похож не был. Но я с жаром поддержала:

— Одно лицо!

— Какое лицо? У него всего-то — клюв да глаза!

Я хотела напомнить Даниелю, что у кур ситуация не менее тяжелая, но подумала, что сейчас это было бы не к месту. Следовало сплачивать наши ряды, а не наоборот.

— Да-а. И башка вокруг своей оси вертится...

— Слушай, а лисы сов едят?

— Знаешь что... не обижай! Я грязного в рот не беру!

Преподаватель уже давно что-то вещал, а мы все еще тряслись от смеха — находчивые и коварные. Я чувствовала себя чуть-чуть отмщенной.

И понеслось:

— Чего-то Сова давно в буфет не залетала...

— Да ясное дело: жрет своих мышей где-нибудь под лестницей!

Или:

— Слушай, а что будет, если Сову ощипать?

— Совенок табака, что еще...

Я не совсем понимала, зачем Даньке поддерживать эту игру. С чего это он недолюбливал Стефа? Ведь они даже не общались. Мне пришло в голову что Даниель вообще-то довольно злой мальчик. Травить неизвестно за что, просто из солидарности... Как так можно?

При всем том, что я возмущалась нравственностью своего дружка, поддержка мне была как нельзя более кстати. Я украдкой смотрела на Стефана и со жгучим стыдом осознавала: только помани — побегу. (Белка в витрине. Холодное стекло. Чем я хуже того чужого мальчика, что войдет в магазин двумя днями позже? Что мне нужно сделать, чтобы самой стать *чужим мальчиком*, имеющим право на счастье?)

Счастье... Здесь и близко не могло быть ничего похожего. Ну и что? Я хотела этого, именно *этого*. И не желала знать, что *это* на самом деле. Я запуталась. Мне была нужна игрушка с витрины — но зачем... Я сама не знала. Может, для того, чтобы дарить ей, безмолвной и безразличной, нежность. Может, чтобы, поиграв чуть-чуть, бросить — такую пушистую и хвостатую — на лавке. И, уходя, весело прокричать: «Не нужна ты мне!» И громко засмеяться, чтобы весь двор, весь мир узнал, как же она мне не нужна!..

Город готовился к встрече Нового года. А я ничего не делала — только ходила и думала. В конце концов докатилась до того, что принялась

оправдывать Стефана. Я *вошла в его положение.* Подумала — возможно, он просто струсил в последний момент. Вспоминала, как он курил сигареты одну за другой в тот рождественский вечер: лишь загасив, выбивал из пачки новую... Нервничал, значит... Может, я тогда погорячилась? Может, надо было, несмотря ни на что, продолжать говорить, разматывать этот клубок... клубок комплексов? Да. Стеф строит из себя самодостаточного, но при этом настолько не гармонирует с этим миром, настолько отчужден от него... Закрытость — первый признак внутренних проблем. Может, я должна была помочь ему? Вопреки всему тому, что он делал? Может, ему надо было *показать любовь*, и он забыл бы все на свете?

Показать любовь! Сейчас он даже не смотрит в мою сторону. Видимо, до глубины души оскорблен тем, что я осмелилась поднять на него руку.

— Лис!

Даниель давно уже звал меня не Лиз, как все, а — Лис.

— Лис! Решершень! Как ты думаешь, какого цвета клюв у нашей Совы?

— Не знаю. Какого-нибудь мерзкого.

— Не! Белый. А знаешь почему? Есть такое выражение — «blanc-bec», белый клюв. Говорят про совсем зеленых, но донельзя самоуверенных.

— Да? А по-русски это «желтый рот». (Я имела в виду слово «желторотый».)

— Какой же он у него в самом деле? Хм... Давай подойдем и спросим.

— Ты что, решил провести каникулы в гипсе?

— Если вместе с тобой...

С появлением нового «поля деятельности» мы с Данькой сдружились как никогда.

Но где-то глубоко внутри у меня крепло ощущение, что тут что-то не то. Не могла понять, в чем дело. Просто я внезапно перестала верить Даниелю. Может, что-то почувствовала. А может, не хотела простить ему, что он повелся на игру, казавшуюся мне, по правде говоря, абсолютно бесчестной.

Предновогодняя неделя так и проползла: в злобном шипении и горестных раздумьях.

Каждый день названивал Жерар. Встречать Новый год его пригласили в какую-то компанию, и он обещал явиться туда со мной. Ну и что. Я-то никому ничего не обещала.

Очень было мило со стороны Нади с Юбером: они настойчиво звали меня к себе (в Юберову квартиру без родителей). Я и тут отказалась.

Заявила всем, что иду на студенческую вечеринку, так что — спасибо, Надя, прости, Жерар, у меня своя бурная жизнь, увидимся после праздничка, счастливо повеселиться.

Хотелось остаться одной. Вернее, ничего не хотелось.

Тридцать первого я даже не вышла из дома.

Около десяти вечера стукнула в голову шальная мысль. Не раздумывая, набрала телефонный номер. Потянулись гудки. Сердце бухало — казалось, оно всюду, всюду: в голове, в грудной клетке, в ногах, во всей комнате... Трубка стонала — долго, протяжно. Я уже знала: Стефа нет. Впервые его не было, когда я звонила. Что ж, *кончено* же.

— Алло.

— Здравствуйте. А Стефана можно позвать?

— Его до завтрашнего дня не будет.

— Простите...

Сердце потихоньку утекало из рук, из-под коленей, таяло в воздухе, все тише трепетало в грудной клетке. Виски больше не ломило. Безудержно захотелось лечь. Выключила свет, забралась под одеяло. Комната вспыхивала желтым, красным, синим. Далеко за стеной играла музыка. Потом перестала.

Бродила где-то между сном и явью. Под одеялом было тепло.

Когда закричал телефон, я, кажется, уже куда-то провалилась. Вскочила. Бросилась в коридор.

Звонили Ксавье с Фло. Спросили, много ли у меня народу и не здесь ли Дани. Поздравляли.

Положила трубку, посмотрела на часы. Четверть первого.

Прошла на кухню, достала из холодильника салатик в пластиковой упаковке, открыла. Села тут же, у холодильника, на табуретку. Салат был холодным и пресным.

Вернулась в комнату, забралась под одеяло.

А если бы это оказался Стеф? Пофантазируем дальше — и позвонил бы он не по телефону, а в дверь? Я поймала себя на мысли, что не чувствую особой радости.

Кроме неприятного волнения, ничего не чувствую.

По-прежнему хотелось быть одной. Вернее, по-прежнему ничего не хотелось.

Наверное, если бы тогда в дверь постучал сам Господь Бог, я бы не открыла.

— Ты скучаешь по России? — Фло вытаскивает из груды вещей то один, то другой свитерок. — Смотри, а вот этот ничего. Интересно, сколько стоит?

— Не знаю.

— Бирки нет. Как это не знаешь, ты же тут работаешь!

— Не знаю, скучаю ли.

— А-а... Я его, наверно, померю.

Никому не было дела до моей *ностальгии*. Впрочем, не могу сказать, что я сильно страдала. Бабушка сделала все, чтобы я и не думала тосковать, оказавшись во Франции. Когда становилось одиноко, я вспоминала подруг, у которых была тьма забот — учеба, работа, семья, даже дети уже, — до меня ли им... думала о маме — пожалуй, ее устраивало, что взрослая дочь не маячит перед глазами: чтобы начать жизнь с белого листа, так важно ощущать себя молодой. А кто у меня еще был

из близких? Вроде все. Значит, чего ностальгировать. Ведь родина — это твои дорогие люди, и если ты им сейчас не нужна, можно чувствовать себя абсолютно свободной.

Когда ко мне подошла наша менеджерша (Главная Управляющая Вешалками), я размышляла обо всем этом, собирая с пола шмотки, которые покупатели, разглядев, не удосуживались возвращать на место.

— Ты стоишь и разговариваешь, вместо того чтобы работать! Я видела, это твоя подруга, и не надо говорить, что это клиент. Мы не успеваем развешивать вещи, а ты прохлаждаешься!

Я посмотрела на нее и ничего не ответила. Интересно, вообще-то Фло пришла к Николь и болтала с ней гораздо дольше, чем со мной. Но на меня наорали, а Николь никто ничего не сказал. Это оттого, что она тут работает, а меня взяли только на время скидок? Или потому, что я иностранка? (Да еще и выползшая из-за железного занавеса?) Бог с ним — хоть взяли.

Учебы было выше крыши, а теперь еще и подрабатывать приходилось. Я все чаще вспоминала, как встреченная в книжнике Света нагнетала страсти, и представляла, что будет, если бабулёк погонит меня из моей норы. Из-за всей этой истории со Стефаном и связей-то у меня особых не появилось: я никуда не ходила, ни с кем не знакомилась. Даже перекантоваться было бы негде, если что.

Ко всему прочему, я никак не могла прийти в себя — ходила кислая и злая. До тех пор, пока не запахло весной.

Весной запахло уже в феврале. И не только весной, но и переменами.

Сдав в первую неделю февраля все экзамены — пять штук, — я до конца месяца была предоставлена самой себе: зимние каникулы! Поиски работы результатов не принесли: я прошлась по нескольким большим магазинам, и всюду отказали. Почти не огорчилась: как-то униженно я себя чувствовала, подбирая за всеми барахло и выслушивая понукания от менеджеров.

Подумала и решила, что русский язык — это мой козырь, и направилась прямиком в Торговую палату, где надеялась раздобыть адресочки контор, как-то с Россией связанных. И раздобыла. Позвонила Базену — проконсультироваться, куда лучше сунуться, — он только рукой махнул. Мол, куда там... Франция что Россия — страна знакомств: без *лапы* не пролезешь. И обещал похлопотать за меня. Я обнадежилась и решила ждать: как-никак подзаработала на скидках, и на жизнь пока хватало.

В каникулы я ни с кем не виделась, только несколько раз выбиралась с Жераром в театр. Да, театр — это единственное место, куда я поплетусь даже в гипсе. А вообще было холодно, я отсыпалась, отогревалась дома.

Глупо, но я скучала по Стефану.

* * *

В конце февраля началась учеба.

В первый же день мы не на шутку поссорились с Даниелем. Его как подменили.

Что до Стефана, так с ним вообще происходило нечто странное. Я то и дело ловила на себе его взгляд. Он нехотя отводил глаза, уголки его губ вздрагивали. Следовавшая улыбка не была насмешливой или высокомерной. Она казалась чуть ли не кокетливой. Что бы все это значило? Я не знала.

Не знала, но мне стало невыразимо легче. Мы по-прежнему не здоровались и не разговаривали. Но я всем своим существом чувствовала: что-то теперь есть, что-то тихо зародилось и живет между нами. Вернее, между ним и мной.

И вот я делаю вид, что не замечаю его нелепой слежки... не смотрю в его сторону... забыла о его существовании... Потом: случайный поворот головы; лениво скольжу по лицам... Стоп: тонкие черты, черные летящие брови, смеющиеся глаза. Задерживаюсь взглядом на долю секунды — пустым, ничего не значащим взглядом. Бегу дальше по лицам. Утыкаюсь носом в тетрадь. Начинаю рисовать завитушки. Я не замечаю твоей нелепой слежки!

Я не отвечу тебе, Стеф. Не улыбнусь. Не кивну удивленно: *ты чего?* Откуда мне знать, что тебе теперь нужно? Однажды я уже повелась на твои ужимки. До сих пор больно.

Прошло столько времени, но до сих пор больно.

* * *

Мне совершенно не с кем было поговорить обо всем этом. Будь у меня возможность нажаловаться бабушке на ее хваленых французов! Но после смерти деда она потеряла интерес ко всему, у нее прямо маразм старческий разыгрался. С тех пор бабу Юлю занимали исключительно действия правительства и собственные болячки. Какое ей могло быть дело до внучкиной несчастной любви...

И все же мне казалось, что в глубине души бабушка осталась прежней мадемуазель Жюли, без оглядки влюбленной в упрямого красавца. И прежней бабой Юлей, мечтавшей, чтобы ее внучка обвенчалась с парижанином. Но было бы нелепо начать искать эту мою *истинную* бабушку — сквозь тысячи километров, сквозь несколько лет молчания... Мы были уже слишком далеки.

Я чуть не вывалила все Жерару, но вовремя сдержалась.

Он продолжал ходить «в приятелях», его это явно не устраивало. Но вид у меня был такой неприступный и озабоченный учебным процессом, что Жерар и не рыпался со своими откровениями. Видно, чтение Станиславского не прошло для меня даром: роль «синего чулка» мне удавалась на славу.

Что до Даньки, то ему я уж точно никогда ничего не сказала бы. Еще перед Новым годом я почувствовала какую-то еле уловимую фальшь в наших отношениях. Теперь она была просто кричащей.

Нет, мы все так же дурачились, вышучивали Стефана.

Но что-то нездоровое в этом появилось, желчное. Даниель медленно отдалялся от меня. Это было так обидно и так печально. И так необъяснимо.

Поговаривали, что мсье Перье состоит в каком-то благотворительном обществе. Судя по всему, он стал приобщать к этой деятельности и сына. Наверно, там были какие-то серьезные дела или проблемы, потому что Даниель все чаще отсутствовал на занятиях. И ему за это не влетало, по крайней мере от отца. А тот имел достаточный авторитет в Школе.

Что неприятно удивляло: Дани занимался добрым делом, но со мной с каждым днем становился все язвительнее...

Перерыв. Мы стоим возле доски, я черчу на ней человечков. Даниель перешептывается с Николь. Поворачивается ко мне:

— Лис, у тебя хвост еще не отвалился? А то ты какая-то ободранная.

— Нет. Уважающая себя лисица без хвоста на улицу не выйдет. И чего это я ободранная вдруг?

— А то. Французский знать надо.

— Я знаю французский.

— Не знаешь.

Отворачиваюсь к доске. Даниель не унимается:

— Вот, например, есть такое выражение — «ободрать лису».

Нутром чую: сейчас скажет гадость. Нехотя бросаю:

— Ну. И что же оно значит?

Даниель склоняется над полом и делает вид, что его тошнит. Само собой, процесс изображен очень натурально.

— Вот сейчас я тебя ободрал.

— Что ты за чушь несешь?

— Не веришь? В словаре посмотри. На слово «лиса». Я тебя жалел, не говорил. Там про тебя еще много чего должно быть написано.

Знаменитый словарь «Robert» подтвердил — так и есть: ободрал лису — значит, пардон за неаппетитную подробность, вырвало, *устаревшее*. Пословица «Лиса умрет в собственной шкуре» — то же, что и «Горбатого могила исправит». Вдобавок одним из значений слова «лиса» оказалось «доносчик».

На следующий день Даниель ехидно поинтересовался:

— Ну, посмотрела в словарь?

Я никак не могла понять, за что он меня...

Стеф все чаще наблюдал, как я брожу одна. Он не мог не понимать, что это одиночество вынужденное.

Мне же нужно было показать ему, что ничего не изменилось, у меня все в порядке, ОК, «са ва»... я не нуждаюсь ни в ком. Но времена моей

независимости от всего и вся, казалось, канули безвозвратно. Я чувствовала себя незащищенной под взглядом Стефа. По-моему, у меня стали расцветать комплексы. Хотелось к кому-нибудь приткнуться, но Флоранс с Ксавье откровенно отдалились от всех, Николь носилась веретеном... Возможно, мне требовалась новая любовь, но любви не было и в помине. Я не знала, где ее искать. И не верила, что когда-нибудь смогу снова полюбить.

Наверное, я ждала чего-то от Стефана.

И дождалась.

Во время перерыва я зашла в аудиторию и увидела следующую картину: небезызвестный Жак Дюфур, Стефанов псевдоприятель, сидит на моем месте и преспокойно листает конспект, который я оставила на столе.

Скосила глаза: Стефа не было.

Дюфур так увлекся, что даже не заметил меня. Ничего запретного в моей тетради нет, но я...

— Терпеть не могу, когда лазят в личные вещи.

Далее — сцена: Дюфур поднимает голову, я стою напротив него, вид у меня решительный.

— Лиз, мне надо было одну лекцию пос...

— А при чем тут моя тетрадь?!

Я вдруг не на шутку взъелась на этого Дюфура. Может, просто потому, что он знался со Стефаном. А все мало-мальски имевшее отношение к Стефу меня цепляло.

— Жак, скажи, тебе будет приятно, если я начну копаться у тебя в рюкзаке?

Подтекст примерно такой: «А твой дружок Стефан вообще мерзавец».

— Лиз, она же на столе лежала...

— Мало ли что у меня где лежит! — (Почему ты, рыскающий в чужих вещах, можешь общаться со Стефом, а я...) — Тебе трудно подойти и попросить? — (Почему, почему — ты, а не я?)

— Я думал...

— Ну что, что ты думал?

— Жак, лучше не спорь.

Я вздрогнула. Даже не заметила, как Стеф подошел. Оглянулась. Стефан еле сдерживал улыбку:

— Не спорь, Жак, можно нарваться. Лиз — ужасная драчунья.

Дюфур хихикнул:

— Да? Ты-то откуда знаешь?

Стефан наконец расплылся в улыбке и произнес, обращаясь скорее ко мне, чем к своему приятелю:

— Знаю. Сам чуть челюсти не лишился.

Это было уже что-то! Почти прямой разговор!.. Я деланно поджала губы:

— В следующий раз не промахнусь.

Стеф хохотнул.

— В следующий раз я не дам тебе повода для драки, Лизотшка. Я теперь буду пай-мальчиком.

Лизотшка. Он сказал *Лизотшка*.

Сердце прыгнуло тяжелым мячиком.

Хотелось плакать и смеяться.

* * *

В воздухе тихо танцевала весна.

Я шла по улице Барбес, по залитой солнечным светом улице Барбес. Теплый ветерок нес навстречу еле уловимый запах просыпающейся земли. А воробьи чирикали так, что казалось, сорвут себе голос на неделю... Я шла и улыбалась. Не могла не улыбаться.

Улочка, ведущая на Монмартр, походила на миниатюрный восточный базар: прямо у дороги распустились на робком солнышке радужные ткани... прошитые золотой нитью, разрисованные диковинными птицами и травами шелк, кисея, муслин... Я бродила среди них, струящихся, шуршащих, ластящихся к протянутой ладони; пыталась угадать, откуда пришли они... вообразить, как они могут облегать тело... Я всегда была неравнодушна к тканям. Бабушка чудесно шила, и отец иногда присылал ей из Франции материю. У меня было несколько сшитых бабушкой платьиц, которые я обожала и чуть ли не до дыр занашивала, — *французских*. (Одно из них висело у меня в подсобке на «Таганке» — *театральное*.) Сама я колдовать с тканью так и не научилась, и во мне до сих пор живет удивление от того, что кусок материи внезапно превращается в аккуратную блузочку...

Я резко остановилась, пораженная.

Бывает же на свете такое чудо! Издалека ткань казалась тяжелой, но я подошла, протянула руку:

погладить, и она вздрогнула, подалась назад. Она оказалась такой легкой... легче тени, наверное. Вся она была — пестрые квадратики, желтые, коричневые, красные, бледно-зеленые, будто сшитые между собою грубой стежкой. Такая нелепая прелестная ткань. Мне показалось, она тихо улыбается солнечному свету. Смешная, пестрая.

Я подумала, что теперь у меня будет смешная занавеска... Отчего же так хорошо? Ах да — «Лизотшка». Ах да — «Я теперь буду пай-мальчиком». «Стефан! — Я улыбалась. — Стефан. Конечно же, я позвоню тебе».

Конечно, уже сегодня.

В знаменитый «Фошон» я забрела случайно. Домой ехать не хотелось, я отправилась навестить своих осликов в витрине «Галери Лафайет», но их там уже не оказалось, торчали какие-то манекены в вызывающих позах.

Шла по улице, щурясь от солнца, в сотый раз возвращаясь в аудиторию, где растерянный Дюфур мнет в руках мою тетрадку, а я вздрагиваю и, резко обернувшись, вижу упрямые губы, еле сдерживающие улыбку. «Не спорь, Жак, можно нарваться. Лиз — ужасная драчунья». Ну да, я уж-жасная драчунья, Стеф. А ты, кажется, у нас «пай-мальчик» теперь?..

Какой-то парнишка встречается со мной глазами: улыбается. Наверное, в ответ. Я почти смеюсь. Весь день я почти смеюсь.

Дошла до площади Мадлен и уткнулась в вывеску «Fauchon». Об этом гастрономе мне как-то рассказывал Жерар. Ему уже за сто лет (магазину, конечно, а не Жерару), и он всегда славился красотой своих витрин. Им-то и доставалось в первую очередь от любых забастовщиков. Витрины с экзотическими яствами нещадно разбивали, потому что те были самым настоящим символом богатства и неравенства в обществе. Теперь по ночам их зашторивают: как бы чего не вышло. Жерар говорил, что сюда ходят самые богатые, и в любое время года здесь можно купить спаржу, белые грибы, отборные фрукты... А еще тут продаются дорогие, но безумно вкусные пирожные.

Я бродила среди прилавков как зачарованная. Разглядывала орехи размером с кулак и такую клубнику, что три штуки тянули уже на сто граммов... Какая-то женщина покупала эту поразительную клубнику, а я стояла и смотрела. Было так похоже на бутафорию: огромные сочные ягоды. Я стояла и смотрела. Мне опять хотелось смеяться.

Пришла домой под вечер. Заварила чай, раскрыла конспект: на днях обещали контрольную. Но проблемы банковского маркетинга не лезли в голову ни под каким давлением. Я все думала...

Думала о том, как расскажу ему про эту клубнику. Про отрез тонкой пестрой ткани, расстеленный на кровати. Про этот дурацкий Новый год. Про

мокрую веточку, что я подняла с земли: где сама тетушка Жизнь затаилась под кожицей крупных шершавых почек...

Я думала о том, что снова могу набрать его номер. О том, что мне еще предстоит отыскать истинного Стефана... Возможно, он просто ничего не знает о нежности. Оттого так и печется о своей независимости. Я тоже когда-то была такой. Мама вздыхала: «Неприкаянная ты у меня». «Свободная», — поправляла я. И лишь теперь поняла: права была мама. Я думала, главное в любых отношениях — *держать дистанцию, не распускать нюни* и так далее. Пожалуй, Стефан до сих пор того же мнения. Мнения человека, никогда по-настоящему не любившего.

Может, он просто боится меня? Боится, что моя проснувшаяся (наконец!) нежность опутает, подчинит, потребует ответа? Боится потерять свободу, но отыскать чудо?

Чудо: позволить своим пальцам нырнуть в челку — которой, казалось, уже никогда не коснешься. Чудо: служащий магазина игрушек, выходящий на улицу с пушистой белкой в руках, — возьми, девочка... возьми просто так...

Сегодня Стеф сказал Дюфуру: «Я вечером дома, звони, если есть вопросы по лекции». Дюфур так вылупился... близкими приятелями они со Стефаном не были. А Стеф как ни в чем не бывало продолжал: «А то мне никто в последнее время не звонит. — Тут он выразительно посмотрел на меня. — А жаль».

И я опустила глаза, потом отвернулась. Не хотела, чтобы он увидел, как я улыбаюсь.

Уже знала, что позвоню ему сегодня же.

Сидела на полу, завернувшись в плед. Телефон стоял тут же. Телефон и чашка с чаем. Я приготовилась к долгому разговору. Не знаю, зачем мне понадобился этот чай. Все равно в горло ничего не лезло. Но это был какой-то приятный спазм. Я помедлила и набрала знакомые десять цифр.

— Алло.

— Стеф, это я. Лиз.

— Ого. Привет. Как дела?

— Нормально. А у тебя?

— Тоже.

Я не знала, что говорить. Я подозрительно разволновалась.

— Дюфур звонил?

— Дюфур?

— Ну да. Ты же обещал его просветить...

— А-а. Звонил. Но я сказал, что занят. Дам ему завтра конспект.

Стеф явно не собирался заниматься благотворительностью. Значит, верно, вся его сегодняшняя тирада — для того лишь, чтобы сказать эту пару фраз: «Мне никто не звонит. А жаль». Я чуть осмелела.

— Откуда ты знаешь, что так говорится: «Лизотшка»?

— Если помнишь, я немного владею русским.

Кажется, мы начали шутить. Обычно это хороший знак.

— По-моему, слово «владеть» тут неуместно.

— Очень даже уместно. Если бы не мои познания в области русской грамматики, ты бы, пожалуй, не позвонила.

— Значит, ты рад, что я...

— Просто счастлив.

Что это: насмешка? *чистосердечное признание*? По тону было не понять. Мне снова показалось, как полгода назад, что я ввязываюсь в какую-то странную игру. Но только играть у меня уже не было ни малейшего желания. Игра — даже самая честная — не более чем иллюзия. А из иллюзий я уже выросла. Так по крайней мере мне казалось. И еще мне тогда показалось, что я доросла до правды.

— Стеф, чего ты хочешь?

Я доросла до правды, даже самой горькой.

Слышала, как он щелкнул зажигалкой. Молчание затягивалось. Я повторила:

— Чего ты хочешь, Стефан?

По-моему, ему не очень нравилась моя откровенность. Но он сам напросился на этот звонок. Наконец раздалось:

— От тебя мне ничего не нужно. Я уже говорил.

Наверно, он почувствовал, что я сейчас брошу трубку. Поспешно добавил:

— Не пойми превратно. Это же прекрасно — общаться с тем, кому от тебя действительно *ничего*

не нужно. Это честные отношения. Разве ты не хочешь правды?

Я хотела правды, но совсем другой. Вернее, под «правдой» мы понимали разные вещи. Стеф продолжал:

— Что за страсть такая — витать в облаках... А свалившись на землю, разыгрывать трагедии. И фарсы. — Засмеялся. — Очень по-русски.

Я не понимала, о чем он говорит. Внезапно возникло ощущение, что я ничего не соображаю. Ясно было одно: я позвонила зря, я унижаюсь. Но отступать было уже некуда. Некуда, незачем.

— Если тебе ничего не нужно, что ты пялишься на меня? Почему ты сегодня сказал — *жаль*, что я тебе не звоню?

— Но мне действительно жаль.

Сердце чуть подтаяло. Мгновенно. Я произнесла как можно мягче:

— Так чего же ты хочешь?

Вышло: не кроткость, а хныканье. Стеф развеселился.

— Лиз, опять ты за свое! Я же сказал: ни-че-го. По крайней мере из того, что ты можешь вообразить.

— А из того, *что я не могу вообразить*?

Я почти ненавидела его, но еще на что-то надеялась.

— Мне нравится общаться с тобой. Честно.

— Общаться?!

— Ну да.

Тут в голову мне пришла любопытная мысль

— Слушай, Стеф, а ты, случайно, не...

Хмыкнул:

— Нет, в любви к мальчикам замечен не был. Что же ты норовишь все объяснить... *квадратно*. Лиз, у тебя...

— ...убогое мышление. Пусть так. Но я не понимаю: я что, донельзя дурна собой? Чего, чего мне не хватает? Чем я тебя недостойна? Вообще, что происходит? — Я почти кричала. — С какой стати ты разводишь меня на подобные звонки? Ведь ты вынудил, вынудил меня позвонить!

Он не перебивал. В какую-то секунду мне показалось, что он упивается своей властью. Что он именно этого и хотел — чтобы я вот так орала в телефонную трубку, чтобы добивалась его, чтобы мне казалось: «*свет* — клином — *в окошке* — сошелся»...

— И ты, и я, мы оба знаем, что все это неправда.

Он произнес эти слова так спокойно, что я опешила.

— Ты просто привыкла получать желаемое. Сейчас капризничаешь, потому что ничего не выходит. В декабре ты поступила в своем духе: явилась, чтобы *взять*. Захотелось — встала и поехала. Как обычно, не так ли? Силой не вышло — теперь хнычешь.

— Скажи лучше: клянчу.

— Тебе виднее.

— Унижаюсь.

— Ты просто пытаешься делать что хочешь. Но я тоже делаю то, что хочу. — Фыркнул. — Трудно мужчине и женщине в эмансипированном обществе.

Мне показалось, он что-то недоговаривает.

— Стеф?

— Да.

— Стеф, у тебя есть девушка. Верно?

— В принципе есть. Но дело-то не в этом.

— А в чем, Стеф?

— В том, что, скажем так, наш с тобой союз (красиво звучит?) обречен. Мы оба привыкли владеть. И никто не уступит. У меня позиция такая: я свободен, мне верны. Ты не согласишься...

Торопливое:

— Я согласна.

Стефан снова засмеялся.

— Это ты сейчас так говоришь.

Возможно, он был прав. А может, и нет.

Хотя... что греха таить, я пыталась добиться своего — и мне казалось, что я пойду на любые условия. Но спустя немного времени я стану ставить собственные. Надо же, у него есть какая-то девушка! Которую он, кстати, нисколько не уважает. Потому что *история со мной* — не просто «история»... Он даже ни разу не заикнулся о ней. Когда я звонила, вечно торчал дома — явно ждал моего звонка. Ах да — он же волен делать то, что пожелает! А потом обойдется со мной так же, как с этой...

— Как ее зовут?

— Не все ли равно?

— Как ее зовут?!

— Вот видишь, уже начинается. Тебе не кажется, что у тебя нет такого права — настаивать?

Почему-то мне было важно узнать ее имя. Судя по всему, она обо мне понятия не имела. Я должна была знать имя: хоть так, да обойти ее.

— Стеф, как... ее зовут?

Понизила голос, и это сразу помогло.

— Элен.

— А-а...

Молчание затягивалось. Я вдруг поняла, что нам и вправду не о чем тут говорить. Что у нас нет перспектив. Не хотелось бы оказаться на месте бедняжки Элен. Я повторила про себя: бедняжка Элен. От этого, казалось, стало легче. И все-таки я не могла смириться — смириться с этой маленькой катастрофой. А может, и не маленькой. Неожиданно для себя я выронила:

— Стеф, только один день. Давай только один день — вместе. Только один.

Он ответил по-прежнему спокойно. (Чего ему волноваться?)

— А дальше — что?

Это было похоже на повод к разговору. Я с жаром ухватилась за него:

— Ничего, Стеф. Дальше — твое любимое *ничего*! Будто не было. Главное — этот один день — по-настоящему...

— Ты ищешь лазейку, Лиз.

— Нет, Стефан, честно. Уже не ищу. Я прошу только один день. Ни минутой больше.

— Так не бывает. Знаешь, я как-то думал обо всем этом. Праздники надолго запоминаются. Их хочется повторять снова и снова. А это уже выходит за рамки условий, не так ли?

— Мы не будем повторять, Стефан. Обещаю.

Наверно, я очень торжественно произнесла это «обещаю»: Стеф так и покатился со смеху.

— Ну, тогда лет через двадцать ты будешь свято верить, что этот день был самым счастливым в твоей жизни. Очередная иллюзия. По-моему, их у тебя и так довольно.

— А у тебя? У тебя же их вообще нет? Пусть будет хоть одна! Ты же не станешь спорить, что этот день и с тобой навсегда останется!

— Спорить не стану. И поэтому тоже я отказался от тебя. Знаешь ли, я принял решение. Так что — извини.

— Пока.

— Пока.

Это происходило на следующий день после разговора со Стефаном.

Даниель не только явился на занятия, но и вел себя дружелюбно. Расползающаяся же по швам компания внезапно собралась. Это было кстати: тошно торчать дома, посасывая лапу и подвывая на луну.

Причем в гордом одиночестве: кому плакаться — Жерару, что ли?

Мы отправились шататься по улицам — без видимого намерения. Вскоре решили где-нибудь осесть — как-никак зима. Зашли в какой-то невзрачный паб — пива выпить. А там еще и караоке оказалось. На большом экране сменялись картинки и бежали строчки песни. Две развеселые девицы завывали в микрофон: «Мон мэк а муа-а-а!!!..» Даниель оживился:

— Лис, давай споем! Давай!

— Ладно. Только выпить надо. Иначе мне стыдно будет.

— Сейчас организуем!

Я подумала, что теперь самое время напиться как извозчик. Со Стефаном мы поутру поздоровались — типа, помирились. Но от этого было еще тошнее. Близок локоть, да...

— Данька, будем пить пиво, пока под стол не свалимся. Идет?

— Я уже начал!

— И я.

Когда мы собрались исполнить «что-нибудь лирическое», пива было выпито достаточно, чтобы направиться к микрофону в обнимку. Даниель долго выбирал в толстенной книженции песню, отпихивая меня локтем. Наконец выбрал.

— Вот! Сальваторе Адамо! Мой отец ее обожает — «Tombe la neige»!

— «Падает снег»... Знаю. Только слов не помню.

— И я! Поем?

— Поем!

Эта песня была популярна в шестидесятые. Но и теперь ни на йоту не потеряла своего очарования.

Падает снег.
Ты в этот вечер не придешь.
Падает снег.
Всё бело от отчаяния.

Это было так похоже на ту промозглую ночь, когда меня носило по пустынным окраинным улицам; когда я два часа просидела на чугунной оградке в каком-то дворе; когда вместо снега с неба летел мелкий дождик и асфальт казался черным от сырости. Но все и вправду было белым-бело от отчаяния.

Дани, кривляясь, орал под ухом:

Ты в этот вечер не приде-ошь!!! —
Отчаяние мое-о кричит мне!!!
А снег все па-адает...

Даже слезы выступили. Еще не хватало разводить тут болото. Я тоненько затянула в тон Даниелю:

Па-а-адает сне-э-эг!!!
В бесстрастном круженьи...
Ла-ла-ла...
Падает снег...

Глаза бежали по строчкам на экране, сердце ускользало куда-то: далеко, глубоко. Я схватила Даниеля за руку. Он театрально прижал мою ладонь к своей груди. Я уронила лицо в сгиб локтя и отвернулась:

Все бело от отчая-ания!

Легонько оттолкнула Даниеля, принялась «ломать пальцы», в то время как Данька «рвал на себе волосы» и простирал ко мне руки.

Холод и пустота,
Эта постылая тишина,
Белое одиночество...

Хотелось сесть за стол рядом с недопитой кружкой пива и разрыдаться. Разрыдаться всласть. Впервые мне хотелось чувствовать себя слабой. Впервые тишина моего драгоценного одиночного гнездышка казалась мне постылой. Невыносимой. Я не хотела возвращаться домой. Я хотела сидеть за круглым столиком из черной пластмассы в заштатном пабе и реветь. Но как раз этого-то и нельзя было себе позволить.

Белое одиночество...
Ты в этот вечер не придешь!

Стефан сейчас где-то, уже не важно где. Может, с этой Элен. Лучше уж быть на месте «бедняжки Элен», чем торчать тут и выламывать с

создавалось впечатление, что зал непомерно велик. Что в нем сотни жующих, болтающих, потягивающих пивко. Сотни живых. Я впервые чувствовала свою отъединенность от этого мира. Это было горько и сладостно одновременно. Мне казалось, я уже никогда больше не буду такой, как они: безмятежной. Смеющейся в переполненном ресторанчике. Смеющейся и взламывающей панцирь вареного рака. Честно, не буду уже.

Мне хотелось, чтобы в этот залитый неоном зал вошел Стеф — с Элен или один, какая разница. Хотелось, чтобы он увидел, как я далека от мира, в котором он продолжает жить. Как внимателен ко мне Жерар — чтоб тоже увидел. Увидел: я одинока, но любима.

Первую раковину открываешь вилкой. Содержимое съедаешь, а створки обращаешь в своеобразные щипцы, которыми затем достаешь из раковин нежненькое мясо мидий. «Хищники мы, — подумала я. — Это отвратительно». Раньше такие мысли не приходили мне в голову.

— Все мы — хищники. Чудовищно.

Жерар посмотрел на меня так ласково, что сразу же захотелось сказать ему «спасибо».

— Не все. Иначе мир бы давно рухнул.

В ту минуту Жерар показался мне *чудесным травоядным*. Неспособным на насилие, иезуитство и прочие извращения. Я подумала: именно с такими людьми и следует иметь дело. Они не швыряются ледышками типа «А дальше — что?». Они не требуют верности

при сохранении собственной свободы. И в силу своей травоядности они достаточно беззащитны. Достаточно — для того, чтобы возникло желание их погладить.

Было уже поздно, когда Жерар затормозил у моего подъезда. На коленях у меня лежал пакетик с клубникой. Я была сытая, разморенная и бесконечно благодарная чудесному травоядному Жерару.

«Не расстраивайся», — сказал он на прощание. В эту секунду мне показалось, что ему тоже от меня *ничего не нужно*. Да и нужно-то никогда особо не было. Я напрочь забыла, что сама же и выдрессировала его. Что не желала ни единого его прикосновения — тоже забыла.

И еще я подумала, что унижаться мне не впервой. Открыла дверцу машины, тронула носком ботинка асфальт.

— Знаешь... если хочешь... короче, можешь остаться у меня.

Так началась новая эра моей французской жизни.

III

В августе Париж плавился от жары.

Жерар планировал ближе к концу месяца взять две недели от отпуска. Хотел свозить меня в Дижон — «с родителями познакомить». «А потом?» — спрашивала я как можно более равнодушно.

— Потом? Ну... что-нибудь придумаем.

Я прекрасно понимала, что означает это «придумаем». А именно: все давно уже «придумано». Две недели в обществе Жераровой матушки мне обеспечены. Буду целыми днями орудовать половником, вязальными спицами и утюгом. Ужас.

Что до меня, то я помоталась бы по Франции автостопом. Но стоило мне заикнуться об этом, как выяснилось, что Жерар *уже не в том возрасте, чтобы стоять на обочине дороги с протянутой рукой*. Ну и, само собой, в хостелах со всякой шушерой ночевать ему тоже не пристало. На своей машине он не поедет, потому что никак не пройдет техосмотр. Меня же одну он «не отпустит». Это было даже забавно: мне никто еще в этой жизни ничего не запрещал. Собственно, я могла просто уехать, и все. Но вот уже четыре месяца как я перебралась к Жерару, и у меня не было особых оснований так по-свински поступить с ним.

— Ну давай хоть на море махнем, что ли? У вас что, на курорты ездят одни миллионеры?

— Но ведь нас ждут в Дижоне...

У меня было сильное подозрение, что Жерара просто-напросто *душит жаба*. Между прочим, за год нашего знакомства он не удосужился мне ни цветочка подарить. А теперь и вовсе распустился. Ему повезло, что жадность в мужчинах меня лично не особо задевает. Все, что мне нужно, я куплю

себе сама. Гораздо противней бывают хамство и безразличие.

— Жерар, ну чего нам в этом пыльном Дижоне торчать! Например, Ксавье с Фло собрались на какой-то курорт под Монпелье, не такой, говорят, и дорогой. Там куча гостиниц. Всегда можно найти что-нибудь подходящее. Хочешь, я узнаю поподробнее?

Неожиданно Жерар оживился:

— Под Монпелье? Это же «Гранд Мотт»! У меня там родственница неподалеку живет...

Тут я почувствовала слабинку. Жерару нисколько не улыбалось сидеть в Дижоне. Просто это было дешевле всего.

— Слушай, а твоя родственница не хочет нас на две недели приютить? Я даже согласна готовить ужины. Она что, одна живет?

— Одна... Вообще-то... почему бы и нет... если только она не уедет...

Самое время было перейти в наступление.

— Ну так ты позвони ей да спроси. Жерар! Звони прямо сейчас! Сразу все и решим!

Долго уговаривать не пришлось.

— А там далеко до моря?

В окна лупил горячий ветер, поезд уносил нас на юг.

— Минут десять на машине.

— О! Прилично.

— Зато жилье — задаром.

Я вздохнула. Жерар был, как говорят, «неисправимый романтик». Только в кавычках.

— Расскажи мне про Натали. Сколько ей лет? Чем занимается?

— Ей чуть больше сорока. Она художница. Вообще-то по образованию она географ, в местной школе географию ведет. Но рисует хорошо. Немного странно. Увидишь.

— А почему она одна? Дети-то у нее есть?

— Как раз детей-то и нет. Бродит такая семейная сплетня, что муж потому и ушел от нее.

— Бросил — только из-за того, что она не может иметь ребенка?

— Вроде да.

Я представила себе одинокую несчастную стареющую женщину. Даже не по себе стало.

— Жерар... а ты уверен, что она не будет вечерами листать семейные альбомы и жаловаться на жизнь? То есть, я ей очень сочувствую, но...

Жерар вдруг рассмеялся:

— Не надо ей сочувствовать. Она этого терпеть не может. К тому же... в общем, ты все увидишь сама.

Люнель оказался небольшим чистеньким городишком в четверти часа езды на поезде от Монпелье. Родственница Жерара жила не в самом городе, а уже на выезде: аккуратные заборчики по обеим сторонам улицы, песочного цвета двухэтажные домики с

черепичными крышами. Плющ — водопадом по бежевым стенам. То ли плющ, то ли виноград... Я не сильна в ботанике.

Натали ждала нас на террасе. Дворик маленький: десять шагов от дома до калитки. Еще только подходя к забору, я разглядела Натали.

Светлые, чуть вьющиеся волосы, подстриженные каре; рост средний; не худая, не толстушка; лицо — обычное лицо. Ничего особенного. Ничего... но улыбка! Мне так светло, может, никто никогда и не улыбался. Эта улыбка не играла, не звала за собой, не пыталась что-то рассказать. Она просто была. И в ней, в этой улыбке, дремало нечто, я сперва не сообразила, что именно. Тотчас всплыло воспоминание: Данькин отец, задержавшийся в аудитории с каким-то студентом... Верно! В улыбке Натали был тот самый покой, что и во внимательных глазах господина Перье. За этим покоем стояло что-то настоящее — у них обоих. Я сразу же приняла эту славную Натали — так же, как когда-то пустила в сердце такого строгого и далекого Николя Перье.

Мы почти не расставались: Натали была совершенно свободна — школьные каникулы! Каждое утро мы рушились в ее бежевый автомобильчик без верха (я никогда не ездила в открытых машинах) и летели навстречу морю, ветру и солнцу.

Бродили по прибрежному песку, смотрели из-под руки на четкие треугольнички яхт, играли в

салочки с набегающей волной. Пили тепленькую колу. И конечно же, из воды не вылезали часами. Правда, это только мы с Натали. Жерар все больше гнездился в тени: курил, листал журналы. Иногда принимался вслед за шустрыми загорелыми мальчишками собирать мидий. (Мидии, они же — мули, лепятся к камням, грудами высящимся над поверхностью воды. Надо, нырнув, соскребать их, бедных, с камня и — ослепленных солнечным светом, рассерженных, — совать в полиэтиленовый мешок.) В такие дни мы устраивали небольшое пиршество: на терраску выносилась плитка, и на широченное чугунное блюдо кидались мули; они шкворчали на огне, пока не раскрывались — это был знак, что лакомство готово и можно тянуться к плите с тарелками.

Как-то во время одной из таких трапез Жерар состроил кислую мину, тяжело вздохнул и произнес:

— Все мы — хищники. Чудовищно.

Он явно изображал меня. Тогда, в рыбном ресторанчике с креветкой на фасаде, с зеркальной стеной из жующих-довольных-жизнью, в Жераровом тухло-болотном существовании наметился если не взрыв, то всплеск. Ему было приятно вспоминать этот вечер. Тогда я еще приняла его за милое травоядное — неспособное к диктату, добродушное... покорно ждущее, когда ж его наконец погладят.

* * *

Во-первых, гирлянду у себя Жерар повесить не разрешил. Заявил, что я устрою пожар и буду расходовать электричество. Во-вторых, мои отсутствия по вечерам вызывали у него такое возмущение, что я, дабы не нагнетать нездоровую атмосферу, все чаще торчала дома — наблюдая, как он пялится в телевизор и тоннами жрет жареный арахис в сахаре. У него это называлось «пошуметь в голове». И вправду, от жевания этих сладких орехов хруст в башке стоит неимоверный. До сих пор не понимаю, какое он в этом находил удовольствие. В-третьих, как явствует из предыдущего, мы вообще перестали по вечерам куда-либо вылезать. Роль таинственного обольстителя, увлеченного музыкой Штрауса, мсье не моргнув глазом сменил на амплуа домашней мебели, водящей особую дружбу с обеденным столом, диваном и телевизором. Штраус, Гоген, Роден и Жерар Депардье были решительно вычеркнуты из нашей совместной жизни. Их успешно вытеснили сковородки с намертво приставшей жареной картошкой, свистки арбитров регби из соседней комнаты и на редкость занудные типы, именовавшие себя Жераровыми приятелями. Они рассказывали несмешные анекдоты и хохотали. Вот! Самое ужасное! Жерар начал по-новому смеяться. Надо сказать, отвратительно. Он *хохотал как гиена*. Короче, к лету эта жизнь меня уже достала.

Я еще молчу про то, как Жерар мог долго и нудно торговаться на рынке из-за двадцати сантимов. Мне лично становилось стыдно. А как-то у меня со стола на пол покатились яйца. Жерар к тому времени уже настроился на «яишенку». В общем, он часа полтора со мной не разговаривал.

Но даже не в этом дело. Яйца купить можно. А вот чего никогда не купишь — так это пестрое восприятие мира. Не серое, а пестрое. Несмотря на все выходки Даниеля, я просто отдыхала в его обществе от Жерара. Да что там отдыхала! Парила. Если бы не постоянная разрядка, я, наверно, давно уже не выдержала бы Жерара с его ненаглядными дружками.

Домой я часто приходила первой. Ставила один и тот же диск Азнавура, сидела смотрела в окно. Бродить по забрызганному солнцем городу не хотелось. Поначалу, когда мы только-только сошлись с Жераром, еще была какая-то радость, было желание доказать Стефану, что *мы и сами с усами*... Эйфория быстро прошла. Меня не тянуло в солнечный Париж. И такая внутренняя пустота... Хотела ли я встретить кого-то? Нет, теперь, после этого полета со Стефом, я не была согласна на пустячную интрижку. Я почувствовала вкус к любви. И никого не искала. Это было бы непорядочно по отношению к Жерару, да и где, кого искать? Бегать по концертным залам в поисках интеллектуалов или торчать в кафешках да на дискотеках? Глупо.

Я понимала, что надо сделать не такое уж большое усилие и оставить Жерара, уйти. Квартирка возле Бастилии по-прежнему оставалась за мной. Но Жерар, казалось, начисто разучился существовать отдельно от меня: беспомощно пялился на груду продуктов на столе, не соображая, что с ней делать; если я приходила домой позже него, дулся с таким несчастным видом... И мысль о том, что я вообще могла ни сегодня, ни завтра не войти в эту дверь, представлялась мне просто варварской. Но иногда у меня возникало подозрение, что это всего лишь уловки, бесплатный цирк для глупой девчонки, вообразившей, что перед ней — лишь славное травоядное, безропотно ожидающее своей ежевечерней порции ласки.

— Все мы — хищники. Чудовищно.

Жерар игриво посмотрел на меня. Дудки. Теперь не проведешь. В Маноск ехать он отказался наотрез: шестьдесят часов туда-обратно по жаре. Я встала за очередной порцией мидий.

— Ага. И ты, дорогой мой, в том числе.

Произнесла это таким тоном, что Жерару ничего не оставалось, как надуться. Мне тоже добавить было нечего. Помолчали. Через некоторое время я оторвала глаза от тарелки и взглянула на Натали. Она смотрела на нас с грустью. Она впервые что-то поняла про нас. И это «что-то» огорчило ее. Да! Она была огорчена, по-настоящему огорчена. Я тогда еще удивилась краешком сознания: какое ей, по большому счету, дело до отношений ее дальнего родственника

(которого она видит дай Бог раз в пять лет) и заезжей девчонки (которую она уж точно никогда больше не встретит)...

После обеда надутый Жерар ушел к себе, а я улеглась в шезлонг на террасе и бездумно слушала тягучее пчелиное жужжанье. Тогда я и узнала, отчего Натали так расстроилась. Ей и вправду было дело до родственника и девчонки. Как, может, мало кому — до кого-то.

Натали подошла, тронула за плечо.

— Какие планы на вечер?

Я неожиданно зло подумала, до чего же осточертел мне Жерар. Настроения куда-то ехать не было никакого. Буркнула:

— Буду спать до послезавтра.

Натали будто не понимала, что сейчас со мной связываться бесполезно. Взяла за руку, потянула:

— Вставай, ворчун!

— Нет уж, Натали, ворчун не я, а Жерар.

Она улыбнулась своей спокойной улыбкой.

— Хочешь, съездим в «Гранд Мотт»? Что мы вечно торчим на диком пляже... Поедем, просто погуляем. Пока Жерар спит.

Последняя фраза была произнесена *страшным шепотом* и сопровождалась таким же взглядом. Я понимала, что Натали ни в чем не виновата, но меня уже было не развеселить.

— Не хочу. Я тоже буду спать. Меня уже достал этот дурацкий «Мотт». J'en ai marre, moi. Votre *Grande Motte*...

«Гранд Мотт» достать меня не мог никак: мы там побывали всего один раз. Натали засмеялась:

— T'en as marre... «notre» *Motte*... Marre-motte... Знаешь ли, ворчун, ты сам напросился. Я буду звать тебя мармотом. Тем более что ты собрался спать до послезавтра.

Я оживилась:

— Мармот? Это кто?

— Ну как же. Животное такое.

В моих познаниях обнаружилась явная брешь.

— Что за животное?

— Как раз то, которое умеет спать до послезавтра.

Натали наклонила голову, закатила глаза и изобразила посапывающего зверя неизвестно-как-переводящегося.

Я вздохнула:

— Ты похожа не на мармота, а на человека, пытающегося мармота изобразить. Далеко не всякий уважающий себя мармот позволит, чтобы кто-то обезьянничал на его счет. Так что ты лучше нарисуй.

— О'кей.

Уж с чем-чем, а с рисованием у Натали проблем не было. На листе бумаги появилась толстая мохнатая мордочка с прижатыми к голове ушами, хитрыми глазками и острыми зубками, затем возникло упитанное тельце, покрытое жесткой шерсткой. Я быстро узнала в мохнатом толстяке сурка — в передаче «В мире животных» о нем рассказывалось подробнейшим образом.

— Вот оно что. Поняла.

Натали отложила карандаш:

— Так-то. И между прочим, *хищник*.

Я хмыкнула:

— Что тут скажешь? *Чудовищно*.

Мы принялись хохотать — на нас просто истерика накатила. В результате разбудили Жерара (может, он просто притворялся, что спит). Мсье вылез из своего логова и, сам не зная, дуться ему или уже прекратить, вежливо поинтересовался, что же нас так развеселило. Натали протянула ему рисунок. Жерар сложил брови гармошкой, потом нерешительно произнес:

— Marmotte?

— Мармот, мармот! — хором пропели мы.

Натали подалась вперед, положила руки мне на плечи.

— Мы с Лиз пройдемся немного, ты не против?

Она спрашивала, я отвечала. Что скрывать-то? Как я оказалась рядом с Жераром? А вот так...

Улочка петляла среди аккуратных бежевых домиков, жужжали пчелы, из-за заборов раздавались собачьи трели.

— Знаешь, Натали, это так странно. Мы плещемся в море, едим мули, смеемся... Будто и вправду счастливы.

Натали остановилась, коснулась пальцами моей щеки.

— Ты несчастна?

Мне стало совестно. Она спросила с таким участием, какое мы ждем только от священников и должников.

— Не то чтобы несчастна... Может, лишь несчастлива... Не понимаю, как мы умудряемся веселиться после того, как нас уничтожили... Тебе разбивают сердце, ты находишь в себе силы вылезти с подружкой в кино и там покатываешься от смеха над дешевой комедией. Так искренне, будто это и есть твоя подлинная жизнь. Как можно смеяться с опрокинутым сердцем?..

— А как можно тосковать вечно? Тогда зачем жить? Ведь если ничего уже не исправить...

— Если ничего не исправить, в душе остается заноза. И пока она не выйдет, все твое веселье будет лишь фальшивым карнавалом. Плакать со злости и вместе с тем смеяться от полноты жизни — вот верх лицемерия.

Натали улыбнулась:

— А не надо злиться. Не будет злости — не будет и слез.

Тут я заявила с компетентным видом:

— Слезы — они от отчаяния все больше. Ты знаешь...

Натали мягко остановила меня:

— Я хорошо знаю, что такое отчаяние.

Мы прошли немного молча. Я думала о том, что Натали пережила стократ более моего.

— Ну вот... отчаяние рождает боль, боль вызывает слезы, а за ними приходит злость. Получается,

мы злимся от отчаяния, от сознания собственного бессилия. Я себя ненавижу оттого, что не могу ничего поделать с этой занозой. Мне надоело плакать, но смеяться было бы ложью.

— Однако ты сегодня еще как смеялась...

— Это-то и странно.

Натали чуть улыбнулась:

— Будто была счастлива.

— Да... мне и вправду было хорошо... Но это только анестезия, боль возвращается. Всегда.

Мы опять помолчали. Натали произнесла — словно сама с собой говорила:

— Верно, боль возвращается... Но... надо просто ее полюбить.

Мы уже в который раз проходили мимо ее дома. Я сорвала с забора цветущую плеть плюща-винограда. За нами тотчас увязалась пчела. Я зло отмахнулась от нее.

— Что? Полюбить? С какой стати?

Натали расхохоталась:

— Мармот, не голоси так, всех собак на лапы поднимешь! Чего тебе недостает, так это покоя. Подлинного покоя, того, который с любовью.

Тут я снова не выдержала:

— А вот и нет, Натали. До недавнего времени я прекрасно знала, что такое покой. Он как раз тем и был хорош, что в нем не наблюдалось ни капли этой никому не нужной любви. А Стеф, про которого я сейчас рассказывала, — он вообще этот покой проповедует. Только и делает, что следит, как бы его не

вышибли из равновесия. И о любви он, по-моему, понятия не имеет.

— Лиз, ты путаешь покой с безразличием. Тишина в осеннем лесу — та же, что в склепе? Настоящий покой не бывает безразличным. И он всегда, всегда с любовью.

Тут я и вспомнила Данькиного отца. Раньше все мучалась, никак не могла понять, в чем же разница между его спокойствием и невозмутимостью Стефана. А оказалось — все так просто. Там — покой, здесь — уравновешенность.

Натали будто услышала мои мысли.

— Знаешь, Мармот, те, кто кичится своей выдержанностью, обычно элементарные эгоисты.

«Так тебе, Стеф», — не без злорадства подумала я.

— Если бы одного понимания, что связалась с эгоистом, было достаточно, чтобы разлюбить его...

Натали даже руками всплеснула:

— Да не надо его «разлюблять»! Люби себе на здоровье! Люби его и боль, которую он тебе принес... и ту, что еще принесет, тоже люби!

— Не принесет, — мрачно буркнула я.

Натали снова расхохоталась:

— Мармот, ты неисправим! Пойдем, мы обещали Жерару, что не оставим его надолго одного. Нас не было часа три.

В глубине души я осознавала, что лишь эта вселенская любовь не позволяет Натали обозвать меня тупицей, да еще и бесчувственной.

— Постой, Натали. Но я правда не знаю, как любить. Так, как ты любишь. Не желая ничего себе — ведь именно это и есть любовь?

— Верно. Люди ищут выгоду. Без конца твердят «дай!». Женское «возьми» — зачастую все то же «дай». Все наслаждаются обладанием, никого не прельщает перспектива безответного чувства. На самом деле само по себе чувство любви — это несметное богатство. Живи с ней, и ты никогда не будешь одинока.

Я подумала, что Натали говорит чистую правду. По дороге сюда я готовилась увидеть именно *одинокую* женщину. Женщину, *прячущуюся* от одиночества за свои картины, за уроки географии, за разведение цветочков. Женщину, *не признающую* своего одиночества. Женщину, *примирившуюся* с ним. *Подружившуюся* с ним, наконец. И даже — *полюбившую* его. Я ждала всего чего угодно, но только не этого — ее дом был полон, постоянно полон. Ей просто не давали оставаться одной — книги, солнечные блики, отмокающие в баночках кисти, телефонные звонки, цветущий виноград, бесцеремонные пчелы, диски классической музыки, облака, пролетающие самолеты, мольберт в дальней комнате, полевые цветы на обеденном столе, смородиновый морс, мошки, пляшущие по вечерам в золотом нимбе настольной лампы... И все это — живое или неподвижное — было пронизано такой спокойной уверенной любовью — почти осязае-

мой, что можно было только рассмеяться в ответ на фразу «Здесь живет одинокая женщина».

Я вдруг поняла, отчего за обедом Натали смотрела на нас с такой грустью. Просто она любила нас с Жераром, по-настоящему любила. И так хотела, чтобы мы были счастливы.

Натали проводила нас до Монпелье. Мы мчались прочь от моря в ее открытой машине, горячий ветер подгонял нас, я прощалась с летом. «Может, останешься еще ненадолго?» — Натали смотрела на дорогу, было не понять, насколько она этого хочет. За полмесяца нашей совместной жизни она так и не прикоснулась к краскам — хотя, смеясь, говорила, что и дня без них прожить не может. Мы украли Натали у нее самой — на целых две недели.

— Мармот, оставайся. Жерар, думаю, будет не против.

Ну конечно. Жерар еще как был против. Но из скромности промолчал. Однако мысль, что кто-то (я) будет плескаться в море, пока он торчит в душном офисе, могла довести его до сердечного приступа. Ко всему прочему он начисто разучился развлекать себя по вечерам. И готовить, видимо, тоже.

— Спасибо, Натали. Но если я не уеду, твои кисти и краски в одну ужасную ночь задушат меня. Они и так уже давно ревнуют.

— Разве?

Я и сама знала, что это не так. В доме Натали, казалось, даже зубные щетки умеют любить... Да, кстати, — о любви. Я решила начать с Жерара. Еще и поэтому повторила:

— Правда, спасибо, Натали. Но я поеду.

На перроне было полно народу. Натали взяла меня под руку. Мы плыли в людском потоке, стараясь не терять из виду малиновую рубашку Жерара. Внезапно Натали сказала — совсем тихо:

— Знаешь, Мармот, нельзя лгать.

Я не поняла, к чему это она. Пожала плечом:

— Сама терпеть этого не могу.

Натали улыбнулась:

— Даже себе нельзя, Мармот. Не надо думать, что делаешь доброе дело, оставаясь с человеком, которого не принимаешь. Даже если он нуждается в тебе.

Я опешила. Это никак не укладывалось в схему — чудесную, но все же схему, — в которую я втиснула Натали с ее Любовью. Видимо, не так-то они обе были просты. Я пробормотала:

— Постой... а как же — насчет того, чтобы полюбить? Ты же говорила...

— Да, все верно. А знаешь, что уйти в такой ситуации — это высшее проявление любви? Не оставаться, унижая скрытым безразличием, привязывая все сильнее, — а освободить... позволить встретить кого-то еще... Женщина всегда ищет *своего* мужчину, и ты будешь искать. Ты все рав-

но уйдешь, рано или поздно. Беда в том, что может быть поздно — для него. Ведь он и вправду тебя любит — как умеет.

Мы подошли к поезду.

— Пиши, Мармот. Или звони.

Жерар был уже в трех шагах от нас.

Я потянулась к своей спутнице и почти на ухо прошептала:

— Я сумею полюбить этот мир, Натали.

Для любви мне срочно требовалось поле деятельности. После Жерара вторым объектом моих христианских чувств выступал Стеф, третьим — Даниель. Твердо помня, что любовь долго терпит и не бесчинствует, я готовилась покорно переносить хохотание Жерара (напомню: хохотал он как натуральная гиена), а также я предвкушала, как буду отвечать ласковыми улыбками на насмешливые взгляды Стефана и обидные выпады Даниеля.

И правда, с Жераром дело пошло на лад. Я как-то перестала раздражаться. Даже не знаю, что произошло. Ходила следила сама за собой. Может, вселенской любви во мне особо и не было, но и злость куда-то исчезла. Появилось спокойствие, почти безмятежность. Но я не обольщалась. После былых треволнений я знала, как хрупка внутренняя тишина.

Как приехала, сразу позвонила Базену (еще весной он нашел для меня небольшую подработку: делать переводы всякой технической документации.

Гонораров мне вполне хватало на жизнь — если не роскошествовать). Базен сказал, что скоро что-нибудь подкинет, «отдыхай, лови теплые деньки».

Я снова стала бродить по городу. Тихо улыбалась мягкому сентябрьскому солнцу. Сидела на железных стульчиках Люксембургского сада. Както забрела в Лувр: гуляла по бесконечным залам, мечтала. Учеба начиналась в первых числах октября; Жерар работал. У меня была уйма времени.

Уйма времени, чтобы настроиться на любовь.

И я донастраивалась до того, что стала думать о Стефане как о «в принципе неплохом человеке, посвоему несчастном».

Потом пришел октябрь.

В первый день перед учебой я простояла у зеркала минуты три, пытаясь застегнуть непослушную сережку. Руки ходили ходуном, я не узнавала их. Не узнавала себя. Мое умиротворение таяло на глазах. Я думала лишь о том, что сегодня увижу Стефа. О том, что не знаю, как себя вести. О том, что почти соскучилась по нему. До ненависти соскучилась.

Я уже не понимала, как можно было битых три недели провести в сладком оцепенении — так похожем на любовь.

Бежала к метро и вдруг подумала — что, если бы Натали каким-то чудом видела меня: грезящую в аллеях Люксембургского сада; мягко улыбающуюся ворчащему Жерару; ловящую на ладонь солнечный

зайчик... бегущую к метро с пустым, растерянным, заломленным сердцем.

Думаю, она лишь грустно улыбнулась бы:

— Ну что, Мармот, спячка кончилась?

Натали, я не хотела, чтобы мои три недели света оказались всего лишь спячкой безмозглого сурка. А если это и правда не покой был, а просто спячка — я не хотела, чтобы она кончалась, Натали.

Но она кончилась.

— Дани, цыпочка, догадайся, где я провела лето?

— В зоопарке.

— Ты знал!

— Конечно. Я сидел в соседнем вольере. Среди коршунов, ястребов и прочей клювастой мелочи. Я их всех там построил.

— Точно! Там еще табличка была: «Боевая курица. Редкий вид. Руками не трогать. Не кормить».

— Кстати, я все-таки не курица, а куриц.

— Какой же ты куриц! На имя посмотри свое.

— А чего?

— Того. Дани-эль. «Elle» — это же «она»! Пока по вольерам шастал, язык совсем забыл?

— Ко-ко-ко... Кстати, я принес летние фотографии.

— Да подожди ты со своими фотографиями. Сейчас выдам решершень. Я была под Монпелье.

— В «Гранд Мотте»! — Флоранс вздохнула. — Мы же с Ксавье тоже собирались, меня предки не пустили. Ты как, одна поехала или...

— Или.

— Здорово...

— Вообще-то мы с другом останавливались у его родственницы, в Люнеле. Городишко такой, очень милый.

— Далеко от Монпелье?

— Полчаса на машине. Правда, Монпелье в этом году переименовали. В Монперье. Я даже сказала бы — Мон Перье. Кстати, по моей просьбе.

(«Mon» по-французски — «мой».)

Данька хохотнул (я про себя отметила, что сделал он это совсем не по-гиеньи).

— Намекаешь, что я теперь — твой? Лишь бы слопать меня, на что только глупая лиса не идет! Давайте лучше фотки смотреть.

Потом, много позже, я принялась копаться в воспоминаниях... — и казалось: все, что терзало меня несколько лет, берет начало именно в этом дне.

Мне и сейчас так кажется.

Стефан появился в Школе через неделю после начала занятий. Я каждый день готовилась встретить его всепрощающей улыбкой, а он не показывался. Наконец я расслабилась. В самом деле, кроме Стефа, у меня было достаточно *объектов вселенской*

любви: на днях, выходя из магазина и замечтавшись, я с размаха налетела на какую-то базарную тетку. А в метро меня пнул сумасшедший. Жерар опять позвал в гости этого отвратительного Клода. На Даниеля то и дело нападала охота язвить. В общем, не до Стефа тут было.

А когда он наконец появился, я только диву далась. То ли не замечала этого раньше, то ли за лето он так изменился. Какой-то он стал облезлый. Даже не сказать, в чем это выражалось. Просто он стал облезлым. Кстати, Фло тоже заметила. И Даниель, само собой, просек.

— Лис, у меня такое ощущение, что нашу Сову поймали и принялись ощипывать. Но она таки вырвалась и улетела.

— Похоже.

(Что же я такое говорю? А как же любовь? — Дани, я хотела сказать...)

— Но знаешь, Лис, я бы на ее месте не вырывался. Ну, ощипали б. По крайней мере было бы стильно. А сейчас — смотреть противно. Правда же?

— Да, но... Но... вообще-то да — противно.

Я сказала чистую правду. За что меня осуждать?

Вот так она и вышла, заноза.

Мне хотелось поскорее рассказать Натали — как стало легко. Иногда казалось: я и шагу ступить не могу, не глядя ее глазами. Мы перезвани-

вались каждые два-три дня: и так радовались друг другу, светло радовались. Набрав номер, я слушала гудки, представляла себе, как Натали кладет кисточку, вытирает руки старой тряпицей, берет трубку... Сейчас она скажет: «А, это ты, Мармот! Ну, здравствуй».

Я скучала по клейким листочкам цветущего винограда (плюща?), пчелам, пригоршнями сыплющимся с неба, чистой кухоньке с кафельным полом — большие такие квадраты... Кухоньке с круглым деревянным столом и стульями, трындящими по кафелю, когда их двигают... А больше всего я скучала по картинам. Картинам, которыми были увешаны все комнаты. Солнечным, немного странным.

Звезды над зеленым морем, смеющееся старое дерево, сухой лист на открытой ладони, мокрая галька и читающая микроскопическую книжку мидия на валуне, покрытом голубым илом... Много цветов. И — в каждой веточке, цветке и прибрежном камушке — полная любви жизнь. Жизнь, по которой я так скучала...

— Ты опять звонишь Натали?

Жерар высунулся из соседней комнаты. Он что-то жевал.

— Да.

Я продолжала набирать номер.

— Тебе не кажется, что она, может, хочет отдохнуть от тебя?

— Нет.

— Ты всегда слишком настойчива, я заметил. И часто не по делу.

Я сбилась, нажала кнопку отбоя.

— Что ты хочешь этим сказать?

— А то, что в этом доме за телефон плачу я.

Ничуть не разозлилась. Неприятно, конечно. Но наверно, он по-своему прав.

— Давай я буду платить.

Жерар на секунду «завис». Однако заманчивое предложение.

— Давай... ты... не будешь командовать. В моем доме.

Он продолжал жевать — именно это раздражало.

— Давай.

На свою беду, Жерар не заметил, как кротко я это произнесла. Что его и погубило.

— Замечательно. Ты сегодня никуда не звонишь. Поняла?

— Поняла.

— Чудесно.

Я положила трубку на стол.

— А еще я поняла, как давно мне хочется совершить акт любви по отношению к тебе. Интересно, в чем он состоит? В том, чтобы оставить тебя в покое. Навсегда.

Жевание прекратилось.

Я думала: права я или просто жестока? И вдруг услышала — несчастное, колючее:

— Опять Стеф?

«Опять Стеф?» Бедный Жерар с куском за щекой. Я как раз и звонила Натали — рассказать, что стало легко. Что я больше не завишу от дешевых эмоций. Бедный Жерар... Я звонила Натали — сказать, что, кажется, влюблена.

— Аэродинамическая труба!

Поток ветра устремляется в просвет между домами; Даниель берет меня за руку, мы разворачиваемся и начинаем пятиться. Теплая, с легкой прохладцей волна накрывает нас. «Слишком теплый ветер для конца ноября», — думаю я. В воздухе тонет слабая мелодия. Тонет, всплывает.

— Дани, слышишь? Музыка...

— Это ветер.

— Да нет же! Послушай!

Мы останавливаемся. Поток льется через нас. Прислушиваемся.

— Точно! А мотивчик узнаешь?

— Постой... «Tombe la neige»?

Даниель затягивает:

Tombe-e la neige-e, tu ne viendras pas ce soir...
Tombe la neige, et mon coeur s'habille de noir...

Оглядываюсь. Боже, сколько снега! Сколько — да еще и в конце ноября!

— Дани, чудо какое: тепло и снежно...

Он улыбается.

Смотрит на меня.

Открытый взгляд.

Я улыбаюсь в ответ.

Дани — будто из пластилина: такой он сейчас мягкий.

На нем — его вечная серая толстовка с ромбиками, но я знаю, что ему не холодно.

Теплый поток ослабевает, теперь он тихо течет сквозь нас. Мелодия утекает, уступая место глубокой тишине. И в этой снежной теплой тишине Даниель осторожно берет меня за плечи.

Прижимаюсь щекой к его толстовке. Мы стоим, боясь шелохнуться. Наконец ласковое оцепенение отпускает нас. Я запрокидываю голову, я улыбаюсь.

Прохладные губы скользят по моей щеке к виску. Прохладные, чуть шершавые: прихватывают ресницы, бровь, осторожно касаются лба. В детстве, когда я заболевала, мама проверяла так, есть ли у меня температура... Приподнимаюсь на цыпочках: сквозь тончайшую пелену горьковатого запаха (у отца такой же одеколон!) — сквозь неловкое касание щеки щекой — сквозь упоительное ожидание — наконец!.. — шершавые, неотступные, бесконечно нежные...

Я просыпаюсь.

— Лис! Знаешь, что тебя ждет после смерти?

— Ну.

— Я вчера весь вечер об этом думал. Из тебя сделают чучело.

Раньше «чучело» грозило бы кому угодно, только не мне. Ей-богу, обидно. Но Даниель явно доволен свежей идеей.

Вздыхаю:

— В конце жизни я отрублю себе полхвоста. Кому будет нужно уродское чучело...

Зря стараюсь: Даниеля понесло. Уже не остановишь.

— Глупая лиса! Не понимаешь, что ли! Остаток хвоста пойдет побегами! Как старый пень! Тогда уж точно угодишь в музей.

Я злюсь, и с этим ничего не поделаешь.

— А твои тощие куриные ляжки сожрет какой-нибудь обыватель.

— Это говорит лишь о том, что в них куча витаминов. А ты будешь торчать, набитая соломой, на подставке. И дети будут ковырять твои пластмассовые глазки. И все твои пятнадцать растопыренных хвостов-побегов...

Он хотел досадить мне. И у него получилось.

Злой мальчик Дани... увы, он был еще несноснее Стефана.

Мы у Николь в гостях. Беру с полки альбом живописи, сажусь возле этажерки на ковровое покрытие. Раскрываю книгу. На белом ворсе ковра причудливые глянцевые картинки кажутся еще ярче.

— Это Дали? Странно, никогда не видела у него ничего подобного...

— Просто картины ранние.

Даниель садится на пол тут же, у меня за спиной.

— Лиз, Николь ушла.

«Николь ушла» — и над ухом у меня раздается мягкое сопение. Когда-то это должно было случиться (я ведь так ждала!): мягкое сопение; крепкие руки; первое — ошеломляющее — прикосновение... Я подаюсь назад: упираюсь плечами в серую толстовку. По лицу у меня скользит несмелая улыбка... Улыбка — надо же! Я всегда была предельно серьезной, когда речь заходила... да, когда она уже заходила. А тут — улыбка... как странно; как волшебно; как нежно она озаряет мое лицо. Я ловлю ее — послушную, ручную. Это так дивно. Я не прогоню ее, не обижу. Разве я знала что-то о нежности — раньше?

Падает снег... ты никак не поймешь, что же меня рассмешило... *падает снег...* я не смеюсь, я просто рада... *все бело от отчаяния...* я просто рада тебе.

Сквозь опущенные веки, сквозь упоительное ожидание... падает снег — в бесстрастном кружении... падает снег.

Я открываю глаза. По потолку скользит широкая голубая полоса, стекает на стену. Утро. Раннее-раннее утро. Жерар шумно вздыхает и отворачивается к стене.

У меня было по крайней мере три основания ни на что не рассчитывать.

Во-первых, разница в возрасте: шесть лет в его пользу. Привыкшая к ухажерам «от тридцати», я

чувствовала себя рядом с Даниелем зрелой теткой, заглядывающейся на юнца. На ничего не подозревающего юнца.

Из первого вытекает второе. Даниель был самый что ни на есть мальчишка. Судя по всему, он пока слабо интересовался противоположным полом. Было бы отвратительно заигрывать с ним. Да я и не стала бы никогда это делать.

Не стала бы — по миллиону причин. Одна из них — настоящее, глубокое уважение к господину Перье. Это и было третье основание моей «безнадеги».

И все бы утряслось, улетучилось бы, наверно. И эта удивительная блажь оставила бы меня. Жизнь заслонила бы ее. Жернова дней перетерли б ее. Но — вот беда! — были сны. Сны: чудные, пьяные. Живее жизни.

Я понимала, откуда они, и не понимала. Тогда, в первый день после каникул, Дани принес летние фотографии: он два месяца торчал у бабушки в бретонской деревушке и переводил пленку на «живописные виды». Попадались и вправду неплохие кадры. Но много было и просто «тусовочных» — там подобралась целая компания, и всем — хлебом не корми — дай покривляться перед фотоаппаратом...

Поначалу я даже не поняла, что на снимке — Даниель: обнаженный по пояс парень лезет вверх по веревке, упираясь ногами в отвесную стену. Видно

только его загорелую широкую спину. Солнечный свет заливает ее, виден каждый мускул, каждый застывший в напряжении мускул.

Это произошло в единое мгновение. Я вдруг разглядела в нем мужчину. Помню, еще мысль мелькнула: как же я раньше не замечала?

Теперь смотрела на него исподволь — на лекциях. Он был так далек, так беспечен. И абсолютно недоступен.

Я смотрела на него исподволь... «Ты не будешь со мной. Никогда».

Я понимала, что это не любовь. Я откровенно желала его. Это было так похоже на мои прежние увлечения. Но сны приходили нежные, не страстные. Вот что обескураживало.

Так было странно — сидеть на лекции, перекидываться записочками; в перерыве строить рожи, дурачиться и огрызаться... с таким видом, будто и нет у меня никакой тайны. Будто и нет бесплотной кисеи снов... снов, рождающих — там, глубоко — нетерпеливый трепет, покорное отчаяние.

Они приходили нечасто, но запоминались надолго. Я просыпалась — словно выныривала из яркого — такого реального! — мира. Мира, в котором не было недоверия, веселья, грусти, надежд, сомнений... ничего, кроме нежности. Да! Еще была радость. Тихая улыбчивая радость.

И это тоже казалось таким странным... Я, конечно же, знала кое-что о радости (какое задорное слово!), но она всегда была у меня бурной и — видимо,

поэтому — скоротечной. А тут — спокойная, и вправду будто вечная.

А еще — я читала в какой-то книжке, что души спящих встречаются за пределами нашего мира. Это, конечно, лирика. Достаточно было поутру увидеть физиономию Даниеля, как сразу становилось ясно: его душа ночью давала храпака не хуже, чем тело.

А я... иногда я мечтала как девчонка. Видела себя в своей квартирке на бульваре Бомарше. Звякал домофон... или — нет, раздавался звонок в дверь... Даниель смущенно улыбался, стоя на пороге. Я знала: он больше не скажет мне ни одной гадости.

Порой смотрела на него — исподволь...

Ты не будешь со мной. Никогда.

Вишня.

Цветки вишни — белые, снежные.

Еще весной мы как-то шатались всей компанией по городу и забрели в такой милый дворик... Он был окружен плотным кольцом старых невысоких домов. Все здесь дышало... не знаю чем, но именно — *дышало*. В этом мирке не было слышно ни шума машин, ни людского говора. Только — тихое, неспешное дыхание мироздания. Мы остановились, зачарованные. И стоило замереть, как на нас опрокинулось ласковое кипенное благоухание. Да, запах был белоснежным, почти зримым. В центре дворика рос разлапый куст дикой вишни. Или это было небольшое деревце, уже не помню...

Сейчас я подошла к нему — как и тогда, весной Как тогда, опустила лицо в кипень цветов. Аромат струился, дрожал, таял. Как тогда, шагнула под уютный молочный свод, тронула рукой ствол. На нем застыла янтарная капелька. Коснулась ее. Капелька оказалась мягкой, клейкой: потянулась ниточкой за пальцем. Тогда, весной, Даниель крутился неподалеку, а сейчас — нырнул под свод из соцветий, остановил мою руку. Янтарная паутинка тянулась от дерева ко мне, играла на солнце.

— Смола...

— Нет, это сок вишни. У бабушки в деревне целые вишневые сады... Помнишь, я приносил фотографии?

Еще бы мне не помнить.

Потянула на себя руку. Даниель не отпустил: осторожно отделил паутинку, тронул подушечку пальца.

— Липкая.

Я улыбнулась, подняла глаза. Он по-прежнему держал меня за запястье. Нельзя с нервной девочкой играть в такие игры, вот что. Хотела это сказать, но только кивнула:

— Липкая.

Дани усмехнулся, опустился на корточки. И потянул меня к себе.

Как странно — земля сплошь покрыта белыми лепестками, словно снегом. Шелковая кипень ложится мне под плечи. Похоже на сон. Только во сне бывает такая бездонная тишина. И в ней — ровное дыхание

мироздания. Мироздания, в котором нет ничего, кроме нежности. И еще радости — такой спокойной, уверенной радости... будто и вправду — вечной.

Приближалось Рождество. Я купила в «Фошоне» шесть огромных клубничин. Дороговато, да Бог с ним. Ну и еще — до кучи — несколько экзотических консервин: гулять так гулять!

Жерар изучил содержимое моих пакетов и ничего не сказал. Я искренне сочувствовала ему — в такие минуты его просто раздирали противоречия. С одной стороны, хотелось поесть вкусненького; с другой — душила жаба.

Следующий день я провела в беготне за новогодними подарками. Вернулась домой под вечер, усталая, голодная. Открыла холодильник: ничего, что можно съесть тут же, только в самом низу, в уголке — прозрачная коробочка с яркими наливными ягодами. Даже живот подвело. Устоять было невозможно, и я подумала, что завтра куплю еще. Жерар и не заметит подмены.

Сладкие, сахарные ягоды.

Он так орал, что мне не по себе сделалось.

Я ни слова не проронила. Покидала в сумку вещи и ушла — на бульвар Бомарше.

Отчего-то я была удивительно спокойна. А когда спустилась в метро, стало вообще легко. Всю дорогу домой я думала... о Юбере и Наде. Еще о Дани.

Надя исчезла — с тех самых пор, как они с Юбером появились у меня на Рождество. Попрощалась, уезжая, и все.

Я вспоминала, как она говорила: «Лизка, это потрясающе, когда — мальчишка. Он такой чистый, молиться на него хочется». Тогда, еще какой-то год назад, мне это казалось бредом нимфоманки. Теперь же я сама была не лучше. Вся разница состояла в том, что тому мальчишке Надя нужна была, а я этому мальчишке — нет.

Шла, вспоминала, как Надя собирала вещи — еще давно, осенью... как они с Юбером дружно склонились над упрямой сумкой: Юбер давил с боков, а Надя тянула за язычок молнии. Вспоминала, какие растерянные были у них лица. Они походили на потерявшихся детей.

Не знаю, такая любовь вдруг меня взяла. Любовь к этим двоим. Ко всем. Даже к Жерару. Я подумала, что давно уже не звонила Натали. Мне вдруг безумно захотелось ее услышать.

Вошла в квартиру, и тотчас раздался междугородный звонок.

Надя тараторила, сбивалась. Ясно было одно: она звонит который день, сидит на телефоне, как маньяк, а что же делать, если билет на самолет давно в кармане, а лететь-то не к кому и остановиться негде.

— То есть он тебя бросил.

— Лиза, я не вещь, чтобы меня бросать. — Посопела в трубку. — Ну не могла я летом поехать к

нему, отпуск только через год дают, а я устроилась зимой. Вроде договорились, что он в Москву приедет, но... короче, не получилось ничего. Может, он уже тогда не хотел. Поговорили неделю назад... в общем, все. У него кто-то есть, и это, типа, серьезно. Лизка, я в отчаянии.

— Разве ты не знала, что этим все и кончится?

Она ничего не ответила. Я подумала, что сейчас не время для морали.

— Надь, если хочешь, можешь встретить Новый год со мной.

— А ты будешь одна?

— Да.

Хотела потащить Надьку куда-нибудь с нашей компашкой, но все были какие-то вялые, Даниель вообще уезжал из Парижа. Я подумала: ну и ладно, посидим вдвоем — не так плохо вволю потрещать с «товарищем по несчастью». У нас же теперь образовалась общая тема.

Что до Жерара, то он поизвинялся-поизвинялся, а когда это не помогло, гордо затаился. И слава Богу.

Через несколько дней пребывания на бульваре Бомарше я позвонила Натали. Так готовилась к этому разговору... Все-таки Жерар был ее родственником. У меня возникло противное чувство вины перед ней. А она так обрадовалась мне!

— Мармот, дружочек, куда пропал? Уснул на зиму? Кто же тебя разбудил? Бессовестный Жерар?

Она так радовалась!

— Натали, я ушла от Жерара.

В трубке повисла тишина. Я «дожала»:

— И к сожалению, это не было актом любви с моей стороны. Ушла и сделала больно, знаю. Натали, я такой же хищник, как и все.

Натали грустно усмехнулась:

— Мы с тобой перепутали, Мармот. Ты всего лишь безвредный грызун... Понимаешь, сурок — это грызун...

Я молчала. Самой бы знать, кто я на деле-то.

Натали то ли спросила, то ли просто произнесла:

— Ты не забудешь меня?

Я отправилась бы к ней в тот же день, если бы не пригласила Надю.

— И что, эта твоя Натали любит того, кто ее бросил?

— Может, даже больше прочих.

Моя лекция о вселенской любви продолжается уже часа два. Надя приехала кислая, какая-то бесцветная. И злая.

— Знаешь, Лиз, мне хочется достичь чего-то... Например, стать знаменитой певицей или танцовщицей. Чтобы он узнал.

— И пожалел, что...

— Ну да. Но только в жизни обычно ничего не меняется. Буду ходить на работу, как автомат, перебирать бумажки и никогда не научусь петь.

— Да тебе это и не нужно.

— Нужно. Мне нужно, чтобы что-то произошло со мной, немедленно. Иначе я с ума сойду. Ты не представляешь, такая ревность, такое бешенство!

Мне так хотелось, чтобы Натали ей все объяснила.

На столе стоял пробковый кораблик, доверху груженный всякой морской снедью. У него были белые паруса и нос, на котором вместо женского торса красовалась креветка. Я решила порадовать Надю — она никогда в глаза мидии не видела, — и отправилась в тот самый ресторанчик, куда меня возил Жерар после истории со Стефом. Морскую всячину там можно заказывать навынос, и, немного погуляв, получаешь вот такой кораблик.

— Натали как-то рассказала мне притчу... Могу тебе ее «подарить» в обмен на ту, о Саксофонисте в аду. Хочешь послушать?

— О чем там?

Она так торопливо бросила это, что стало ясно: не до притч ей сейчас. Хочется злиться и жаловаться. Без конца. Я сделала вид, будто не заметила ее нетерпения.

— Слушай. Притча о буддийском монахе...

Один человек решил покончить с мирской жизнью и стать монахом. Явился он к воротам монастыря и принялся ждать, когда оттуда кто-нибудь выйдет: человек был осторожным и хотел сперва расспросить, какое воздействие оказывает жизнь, лишенная светских удовольствий. Ждал он довольно долго. Так

долго, что уже подумал — «Это знак: незачем мне, видно, от мира удаляться». И как только он произнес эти слова, ворота открылись и из монастыря вышел монах. Человек сразу понял, что это был не простой послушник, а тот, кто достиг просветления. «Вот он-то мне и нужен!» — подумал человек и двинулся следом за монахом.

Человек шел и думал, с чего начать. Наконец он окликнул монаха и просто спросил: «Скажи, что ты делал до просветления?» Монах не удивился вопросу и ответил: «Колол дрова, разжигал огонь, носил воду для учителя». Человек оживился: «А после просветления?» Монах улыбнулся: «Колю дрова, разжигаю огонь, ношу воду для учителя». Человек опешил. Стоило проводить столько лет в молитвах и медитации, чтобы потратить их так бездарно! Человек воскликнул: «Так что же изменилось?!» Монах спокойно посмотрел на человека: «Просто теперь я это делаю с любовью».

Я замолчала. За окном вопили какие-то подростки.

— Понимаешь, Надя? Ты должна меняться не внешне, а внутренне. Не твое тело, а твое сердце должно научиться петь и танцевать. А чтобы петь и любить, вовсе не надо обладать. Просто... пожелай Юберу удачи.

Надя не отвечала, ковыряла глаз креветки. Казалось, она что-то поняла. Я была довольна собой: утвердить в ком-то веру, которую сама толком не

исповедуешь, — немалое искусство. Наконец она вздохнула, кинула на тарелку приоткрытую раковинку.

— Ненавижу.

В июне у меня родилась сестренка. Мне ничего заранее не говорили, а когда я узнала, первой мыслью было: «Мама простила отца». Наверно, ей хотелось испытать радость полноценной семейной жизни. Вот только как она решилась в свои сорок пять...

В каникулы я понеслась домой: помогать.

Целыми днями крутились с мамой вокруг Жанночки (отец настоял на «французском» имени). Я и представить себе не могла, сколько всего нужно маленькому человечку.

А когда до моего отъезда оставалось недели две, нам позвонили из больницы: бабе Юле стало плохо прямо на улице. Отец гнал машину как сумасшедший (впрочем, он всегда так ездил, для него, летчика, это была не скорость), но мы опоздали.

Бродила по ее квартире. С тех пор как наши отношения практически сошли на нет, то есть за последние лет семь, я ни разу не появилась в бабушкином доме. А в нем по-прежнему жил запах моего детства. И на первом этаже, как и пятнадцать лет назад, пекли что-то вкусное.

Бродила по пустой квартире... Не знаю, что я испытывала в те минуты. Сожаление? Ностальгию

по прошлому? Мне вдруг так захотелось посмотреть бабушкины фотографии — старые, на которых она была Жюли, а не Юлией Жаковной. Вместе с альбомами попались под руку какие-то письма, блокнот с эскизами... Тетрадка со стихами. Стихи были на французском, и я кинула тетрадь на дно дорожной сумки: почитаю позже. Вообще-то мне было неловко копаться в бабушкиных бумагах, не по себе в ее доме. За последние годы он стал мне почти чужим, и лишь некоторые вещи, ставшие когда-то родными — треснувшая чашечка из тончайшего фарфора, большая черная бабочка на булавке (я любила гладить ее тельце мизинцем), переводная картинка *Белоснежка и семь гномов* на плитке в ванной, — только эти немногие мелочи улыбались мне и не отпускали.

Через неделю я улетела в Париж.

Смотрела в иллюминатор: думала о бабушке, о Жанночке, о маме. О том, что я все никак не могла привыкнуть к отцу. Детская обида стояла между нами — крепче бетонной стены. Когда я училась в школе, ребята меня спрашивали: «А где твой папа?», и я отвечала: «Во Франции». Никто мне не верил. А одна девчонка — никогда этого не забуду — хмыкнула и сказала так, чтобы все слышали: «Во Франции? *Это сейчас так называется?*» И кто-то засмеялся. В ту минуту я ненавидела отца.

А теперь... Теперь я думала, что им с мамой хорошо вместе. И что если я найду работу и останусь во Франции, они даже не огорчатся. В доме появилась какая-то странная атмосфера... все каникулы меня преследовало чувство, что я, птенец-переросток, свалилась в любовно свитое гнездышко, где две птички выкармливали своего нового чаянного птючонка... Иногда я уезжала ночевать к подруге, настолько ощущала себя лишней.

И вот сейчас, в самолете, я думала обо всем этом, о том, что я все три месяца ревновала маму к отцу... и даже немножко к Жанке. За десять лет я привыкла быть у мамы единственной (теперь появился отец) и неповторимой (родилась сестричка).

Ну да Бог с ним со всем — останусь во Франции, и будет все, как мечтала баба Юля, которой больше нет. Нет... Одно утешение — я ведь не сейчас ее потеряла, а уже давно.

На этот раз все было наоборот: первый день в Школе прошел без Даниеля; зато пожаловал Стефан. Мы поздоровались как старые добрые знакомые. Вернее, как люди, делающие вид, что они старые добрые знакомые.

Дани появился только на третий день учебы. Мы вяло подурачились. Он казался совсем далеким, будто летнее солнце выпарило всю его чудесную *дурь*, дурь, которую я всегда считала творческим началом. Николь сказала, что Дани теперь работа-

ет у отца, в его благотворительной организации, так что мы «будем видеть нашу птичку только по большим праздникам». Даниель и вправду являлся на занятия довольно редко, и мне огромных трудов стоило «растормашивать» его всякий раз. Толстовки нещадно вытеснялись пиджаками с галстуками — ввиду работы, — и было ужасно жаль видеть этого жизнерадостного мальчишку в виде «дяди с портфелем», озабоченного проблемами парижских клошаров. Но стоило ему провести со мной день, как он становился прежним — беззаботным, сумасшедшим и вредным, милым Даниелем, который не шел у меня из головы даже в Москве... Между глажкой пеленок, хождением по магазинам и болтовней с подружками я вспоминала свои сны. Они были так дивны, что я каждый раз ждала их — и порой дожидалась.

— Знаешь новость?

Николь скользнула помадой по губам, спрятала зеркальце.

— У Дани появилась девушка!

Хотя я и не претендовала на «место под солнцем», радости у меня не прибавилось.

— Это когда-то должно было случиться.

— Да! Иду — смотрю — они: топают по улице, за ручки держатся... Короче, так: она его старше на четыре года, зовут Элен. — (Тут я поперхнулась минералкой.) — Из приличной католической семьи. Дочь друга мсье Перье. Намерения у них серьезные.

— А как она...

— Ничего особенного.

— А-а...

Мне не хотелось, чтобы он женился на ней. И не хотелось, чтобы мои сны обернулись явью — для очередной в моей жизни Элен. Только ее — в отличие от Стефовой — нельзя было назвать «бедняжкой».

Мама захлебывалась рыданиями, я сперва ни слова не могла разобрать. Но спустя пару минут уже знала: отца у меня больше нет. Разбился на машине. Гнал, как всегда, а ночью подморозило, и на полном ходу он вылетел на встречную...

Это кощунство, но больше всего мне было жаль маму. В сорок пять остаться с грудным ребенком на руках, без заработка и перспектив... Деньги, вложенные в новую квартиру, ухнули — строительная компания прогорела и рассеялась по ветру, а остаток отец умудрился подарить прохвостам из «МММ». Ладно, не один он был такой. Что ж теперь...

Надо было возвращаться. Маме требовалась элементарная помощь. Я пошла к директору, и мне в два дня вернули уплаченное за грядущий учебный год.

Все это случилось в конце ноября. Одним движением отец перечеркнул свое будущее, мамино и мое.

* * *

Думала — устраивать ли прощальную вечеринку. Не время для этого было. Но потом решила, что я никогда больше не увижу этих людей, а ведь мы два года прожили вместе. Речь не только про нашу компашку.

Никому ничего объяснять не стала (знали лишь самые близкие), сказала — уезжаю, обстоятельства, если хотите — приходите. Написала на доске адрес. Как результат — в мою квартиренку набилась орава. Даже Стеф пришел — с иронической улыбочкой на губах. Правда, мне было не до его иронии: без танцев не обошлось, и меня упорно приглашал жуткий тип по имени Пьер Дюваль — всячески намекая на свою симпатию. И все бы ничего, но он объявил себя ди-джеем и то и дело норовил ставить *медляки*, что выглядело довольно нелепо: во Франции они уже сто лет как начисто исчезли с дискотек. Вот так, заводил музыку и отправлялся прямиком ко мне. Я разве что в ванной от него не пряталась.

Даниеля не было, и когда в самый разгар «безобразия» он вдруг вырос на пороге, я почти не обрадовалась. Да, я окончательно перегорела — тогда, когда Николь поверяла мне страшным шепотом Данькины «любовные тайны». Что-то сломалось во мне. И хотя сны еще изредка приходили, я больше не радовалась им. Терпеть не могу примерять чужое белье.

Встретила Даниеля любезной улыбкой. Без задней мысли схватила за руку:

— Пошли танцевать! Тут медляки сплошные. Дюваль рулит.

Он сделал шаг назад, к двери. Его запястье выскользнуло из моих пальцев.

— Не, с тобой не пойду. Я тебя боюсь.

Началось! И я должна была это терпеть.

— Ладно, потанцуй с Фло. Она скучает уже полчаса.

Даниель несколько секунд колебался, потом бросил:

— А вообще-то пошли с тобой.

Еще недавно сколько бы я отдала за такой танец... Не то чтобы я не испытывала удовольствия (Даниель аккуратно, едва касаясь, держал меня за талию), но удовольствие это было лишено восторга, его скорее можно было назвать приятным ощущением. И все из-за Элен. Вздыхать по бесхозному мальчишке — одно, а таращиться на того, кто любит и любим, — совсем другое. Это по меньшей мере глупо.

Единственное, что мне хотелось прояснить напоследок, — чем же я ему так насолила. Попыталась перейти на доверительный тон:

— Дюваль меня достал. Если подойдет, я скажу, что ты меня пригласил на пять танцев вперед. Отработаешь?

На Даниеле явно отразилось занятие благотворительностью.

— Зачем ты так? Дюваль тоже человек.

Мне захотелось задать встречный вопрос: «А я для тебя не человек? Судя по твоим выходкам...» и т.д. Но кем я никогда не была — так это склочницей.

— Дани, будь он человеком, давно понял бы, что портит мне вечер.

Я не узнавала «вредного Даниеля».

— Знаешь, Лиз, в каждом есть что-то хорошее. Надо только отыскать это, а не отворачиваться.

Я шестым чувством улавливала: с каждым мгновением между нами растет, ширится нечто... оно похоже на доверие, на гармонию, на созвучие... Мне стало так легко...

— Дани, ты думаешь, я не ищу в людях сердце? Думаешь, я только дурачиться и умею?

— Нет...

— Знаешь, а я ведь на самом деле далеко не веселая. Я грустная. Очень грустная.

— Знаю.

— Что?

— Знаю. Мы же похожи. Мы — как один человек. Только ты — женщина, а я — мужчина.

Мне ничего не оставалось, как растеряться.

— Лиз, не хочешь сходить за винцом?

В чем Николь не обвинишь, так это в наличии чувства такта. Отнимаю голову от Даниелева плеча, буркаю:

— Николь, а без меня ты не обойдешься?

— Нет, конечно. Давай, до магазина и обратно. Ксавье весь вечер танцует с кем угодно, только не с Фло. Она решила напиться. Надо помочь человеку.

Не вовремя, да ладно. Вздыхаю:

— Дани, спасем Флоранс?

Выходим на улицу.

— Всем пока.

Стефан обгоняет нас, направляется к серенькому «пежо». Скатертью дорога!

Николь идет впереди, мы с Даниелем — следом. Мне кажется: возьми я его за руку — он не отнимет ее. Кем я была для него все это время? Чем-то типа сестренки... отражения. Да, я слышала, братья с сестрами редко бывают по-настоящему дружны. Вот он и огрызался постоянно... Но сейчас... Он просто понимает, что мы прощаемся. И наверно, навсегда.

— Здорово ты придумала с этой гирляндой.

— Тебе правда нравится?

Мы разговариваем так мягко. Слова будто топают по ворсистому ковру.

— А как же. Я еще на первом курсе оценил идею. Помнишь, мы как-то остались у тебя ночевать? Вы все уже спали, а я лежал и думал о чем-то. Огоньки загорались, гасли. Это было так... классно.

Мой мирок, который все отторгали, давно уже был для него близким! Ведь дело вовсе не в гирлянде. Ни Стеф, ни Жерар не могли принять меня всю. И не хотели.

— Спасибо, Дани.

Даниель несет открытый пакетик чипсов. Рука то и дело ныряет в пакетик и затем появляется с зажатым между пальцев аппетитным солнышком. Солнышко ложится мне на ладонь. Хрусть!

Женщина сама может надеть пальто, но мужчина подает его женщине; я сама в состоянии достать золотую картофельную монетку, но Даниель каждый раз предупреждает мое движение. Это внимание удивительно и нежданно, но мне его уже мало. И в какой-то миг я не подставляю под хрупкую пластиночку ладонь. Я тянусь к ней губами, чуть улыбаясь. Даниель колеблется мгновение, затем поднимает руку, и я осторожно прихватываю пластиночку ртом. Не знаю, кто из нас смутился больше.

Мы так долго были далеки друг от друга, что произошедшее показалось нам недопустимой близостью.

К тому времени как мы вернулись, народу поубавилось: было около половины одиннадцатого. Николь направилась к Фло, с кислым видом засевшей в углу.

Из комнаты текла музыка: Дюваля окончательно переклинило.

— Потанцуем?

Гирлянда прогоняет темноту и снова гаснет.

— Лиз?

Синий всполох.

— Да?

Темнота.

— Я сегодня сказал, что боюсь тебя...

Красный всполох.

— ...это правда... все эти годы я боролся с собой...

Темнота.

— ...ну, не с собой... короче, со своей...

Желтый всполох.

— ...со своей страстью к тебе.

Мне чудится, будто последняя фраза — фарфоровая. Хрупкая-хрупкая. И если я ее отпущу, она разобьется.

Мы стоим у окна. Происходящее в моей квартире напоминает шаманские танцы народов Сёвера. Кто-то на заднем плане взвизгивает. Накурено.

— Нет, Лиз, было бы в сотню раз хуже. Сперва — гора золотых монет. А потом — пропасть. Потом было бы очень больно. Очень.

Они все сговорились, что ли? Нечто на тему «А дальше?» я уже выслушала от господина Стефана Лётюллье.

Это что, тривиальная трусость? Или же — напротив — мужество: мужество отказаться от настоящего во имя будущего? Безмятежного будущего.

Безмятежного ли?

— Я так часто думал о тебе. Думал, что ты дома одна. Что... что ты дома одна.

— А я воображала, как ты позвонишь в дверь.

— Однажды я стоял перед твоей дверью. Еще на первом курсе. Окошко мигало, но я не знал, дома ли ты. Оно ведь всегда мигает. Снизу проскочил с кем-то, поднялся на этаж. Уже хотел нажать кнопку звонка, и тут у тебя что-то звякнуло. Я как очнулся. Наверно, я надеялся, что тебя нет.

— На первом курсе еще рано было звонить в эту дверь.

— ...

— ...

— Стефан?

— Да.

— Я так и думал!

Ты так и думал. А мне-то казалось, что никто ничего не видит. Ты знал — не все, но достаточно для того, чтобы злиться на Стефа. И на меня. И на себя в конечном счете.

Помолчали.

— Он тебя обидел?

— Д-да. Кажется, да.

Шаманская музыка кончилась. Из колонок потекло тихое, ласковое.

— Пошли танцевать.

* * *

Вот откуда приплыли эти сны. Вовсе не из небытия. Как я не догадывалась раньше — слишком они были живые, чтобы оказаться игрой воображения.

— Ты любишь Элен?

— Да.

— Тогда — почему я?

— Ты была еще до Элен. Знаешь, когда я тебя увидел, сразу понял — труба мое дело. Ты чем-то похожа на Изабель. У меня была подруга Изабель. Мы полгода прожили вместе. А потом мне исполнилось семнадцать, и она сказала, что выходит замуж. Ей было двадцать шесть и хотелось ребенка. Мне оставалось только собрать вещи и уйти. Я думал, от такой боли умирают. У меня до нее никого не было.

О-ля-ля! А я-то мучилась, что в бабушки Даниелю гожусь! Воображала, что он дитя невинное! (А я соответственно распутная бабка.) Боже мой, как мы бываем неадекватны! А теперь... как поздно!

— И еще. В Элен нет того, что есть в тебе. В ней нет страсти. Она холодная.

— Так почему же ты...

— Элен очень светлая.

Хотелось спросить: а я? чертовка? искушение? больной зуб? аллерген? За Элен можно красиво ухаживать. А по мне можно злобно сохнуть. И

кусаться, потому что очень хочется, а нельзя. Да почему ж — нельзя?!

— Говорил же тебе: я тогда думал, от такой боли умирают. Не хочу больше.

Да, я всегда уходила. Всегда и от всех. Я не могла бы поклясться, что здесь было бы что-то *вечное*. Ничего вечного в мире нет. Но... Я до сих пор помню то, что сказала себе пару лет назад: верно, через дружбу лежит мой путь в любовь. В любовь-дружбу, похожую на синицу в руках. На самую прекрасную синицу на свете.

— Даниель...

Я не знала, что сказать. Правоверная католичка Элен, светлая и холодная, стояла между нами. Было бы подло...

— Я и сам не предам ее.

Правильно. Предавать можно только наше непрожитое прошлое и несложившееся будущее. Предавать каждый день. Да что теперь...

Теперь — только воспоминания.

— Дани... Дани, послушай... ты помнишь, как мы изображали химер? А потом пошли в Нотр-Дам. Помнишь свечки? Ты еще сказал: давай запомним эту минуту на всю жизнь!

— Да. А помнишь, ты в кафе как-то села мне на колени?

— Нет.

— Ну как же!

— Помню, мы пели дурными голосами «*Tombe la neige*».

— Точно! Но это было в другой раз.

— А помнишь, как нас мадам Бреар из аудитории выгнала?

— Нет.

— Ну, Дани! Ты тогда еще закудахтал случайно!

— Да мало ли их было — тех, кто нас с тобой из аудиторий выгонял...

Бегут минутки... Даниель говорит тихо и мягко — как никогда раньше; он убирает прядку волос с моего лица — нежно, как никто. Мы вспоминаем... шепчемся... слова топают по своему мягкому ковру... Мы так давно приняли друг друга.

— Откуда здесь взяться боли, Дани?

Идем вдоль витрин, с которых на нас смотрят старые, видавшие виды объективы. Наша история для них не нова.

Ну и пускай. Останавливаемся, целуемся, шагаем дальше. Тепло: куртки расстегнуты. Даниель держит меня за руку. Это безумно приятно. Кажется, все. Больше не помню ничего. Ах да — мелкий дождик.

Запрокидываю лицо, прикрываю глаза.

Дани останавливает меня, обнимает, проводит рукой по сырым волосам, касается губами виска. Это не сон.

— Пошли.

Резная металлическая калитка, ведущая во внутренний двор, приоткрыта — он тянет меня за рукав, ныряем в темноту дворика. И это не сон.

Потому что во сне была радость. Спокойная, уверенная, будто вечная радость. А здесь ее нет. Здесь есть только удивление и горечь. Почему ты не пришел раньше — до Элен, до моей беды с папой, до Жерара, до Стефа? Здесь, сейчас — только горечь: спокойная, уверенная, будто и вправду — вечная.

Прислоняюсь спиной к холодной стене. Даниель торопится, пуговички у меня на блузке упрямятся.

— Лизет...

Вскидываюсь:

— Ты сказал — Лизет? Почему?

— Не знаю.

— Меня дома так зовут... Папа звал.

Мне вдруг безумно становится жаль отца. Отца, и маму, и маленькую Жанночку. И себя.

Блузка поддается, прохладные губы скользят по телу. Скользят, останавливаются. Даниель не смотрит на меня:

— Я боюсь ее.

Сперва не поняла.

— Ее?

— Элен. Она все чувствует.

— Послушай...

Он уже не со мной. Да что же мы делаем такого — смертельного?..

— ...послушай, Дани, мы не делаем ничего особенного.

— Ничего особенного?!

Я не знаю, как объяснить ему, что мы не унижаем Элен. Что мы сейчас в другом измерении. Что капает зимний парижский дождик, и через неделю я уеду. Что я не забуду его и через сотню лет.

Даниель отпускает меня. Смотрит мимо, в темь двора.

— Какой же я слабый...

— Нет, Дани, ты не...

— Пойдем.

Он прав. Хотя бы потому, что нам нечего делать вместе. Мы уже сгорели.

Молчим. Даниель провожает меня до дома. Окошко на втором этаже вспыхивает, гаснет.

— Я пойду, Лиз.

Легко отпускаю его. Целую на прощание в щеку. Он бросает короткий взгляд на подъезд: не идет ли кто из наших.

— Лиз.

— Да?

— Лиз... если бы... если бы только один раз... один день с тобой... но по-настоящему...

Это не похоже на предложение — скорее мысли вслух. Но я не ухвачусь за них. Улыбаюсь:

— И тогда, лет через двадцать, ты будешь свято уверен, что это и был лучший день в твоей жизни.

Мы стоим друг напротив друга — с безмятежными улыбками. Мы взрослые и мудрые. Мы не совершаем безрассудств.

Телефонный звонок.

Бегу срываю трубку:

— Да!!

— Привет. Са ва?

— Са ва... Это ты, Стефан?

— Да. Все разошлись?

— Уже утро, Стефан. Ты не в курсе?

— Я думал, народ остался ночевать.

Народ и остался бы. Да кто ж его оставит? Кто ж его оставит, когда — внезапная тоска, и сожаление, и глупая надежда, что среди ночи раздастся звонок в дверь... потому что *там* не менее больно, чем здесь.

— Стефан, прости, мне должны позвонить. Я не могу занимать телефон.

— Понятно. Я забыл у тебя записную. Без нее как без рук. Хотел заехать забрать.

А я все гадала, кто оставил эту электронную книжку. Пользоваться я такими не умею: кнопочки, экранчик — как узнаешь имя владельца?

— Заезжай, но поскорей. Ко мне могут прийти, и будет не до тебя.

* * *

Стефан приехал спустя полчаса. Улыбался и строил глазки. Смотрела на него в прихожей, думала: *почему я торчу тут с каким-то непонятным Стефаном, а не?*.. На меня напала хандра. Позвала его пить чай.

— А твои гости?

— Они не придут.

Вечер. Ожидание. За окном темно. За окном падает снег. Такие огромные хлопья. Будто я не в Париже в середине хлипкого декабря, а на хуторе близ Диканьки в ночь перед Рождеством. Ожидание: бескрайнее, сонное. Ожидание. И вот в самой его сердцевине, на самой бездонной глубине его — короткий звонок. Звонок в дверь. Я даже не сразу понимаю, что это. Звонок!

Срываюсь с места. К двери! Дверь — нараспашку! Поздно — лишь торопливые шаги по лестнице: вниз. Ты думал, меня нет? Ты надеялся, что меня нет! Знаешь, ожидание в темноте, под пледом, в тихом мигании мягкого света — словно дрема... словно ласковое забытье... словно — почти — забвение. Я знала, ты придешь.

Куртку — с вешалки. Как была — в домашних разношенных туфельках — в теплый и снежный мир, падающий за окном. Падающий, ускользающий из-под ног. Как трудно бежать по вязкому снежному месиву! Ноги в туфельках прова-

ливаются, тяжелеют. Я зову тебя, зову. Наконец ты оглядываешься. Ты смотришь на меня и пятишься.

— Постой, Дани.

Разве не сам ты пришел? И разве не знаешь ты то же, что знаю я? Разве не знаешь, что это такое — *ожидание*? Ожидание в темноте, под пледом, в тихом мигании мягкого света — болезненная дрема, жестокое забытье, полное упрямых воспоминаний. Дрема-драма... Ожидание. Разве ты не знаешь?

Мне уже не догнать тебя. Ты далеко, в конце улицы, заворачиваешь за угол. Я останавливаюсь без сил. Тепло и снежно. Огромные хлопья.

В этом сне больше нет нежности. И радости. Только — белая бескрайняя тишина.

На четвертый день я поняла, что он не придет.

Проснулась. И поняла.

Все это время даже за хлебом не выходила.

Да что я хотела-то? Лишь руки коснуться. Тронуть пальцем бровь, губы обвести. Скользнуть ладонью по волосам. Именно этого он и сторонился. *Этого*: нежности. Ведь страсть можно выпить. Нежность — бездонна. И невыносима. Он не придет.

До отъезда оставалось пять дней.

Я хотела вернуться в Париж. Бесснежный декабрьский Париж. Хотела в последний раз промелькнуть на его улицах.

Но сперва — собрать вещи, чтоб ничего не держало более.

Достала дорожную сумку, открыла.

На дне лежала линялая тетрадка в белой картонной обложке. Это были бабушкины стихи. Я о них совсем забыла.

Страницы — желтые, блеклые. Выцветшая клетка. И на ней (или в ней, в клетке?) — аккуратные латинские буквы: короткие столбики. Столбики — о любви. О Франции. О красавце дедушке. О страхе. О вере. Снова — о любви.

Закрываю тетрадь. Вот оно что. Смеяться я научилась у деда, а необъяснимой грустью меня наделила бабушка... Я никогда не думала, что она такая. Просто не замечала ее — настоящую. И теперь даже не могу сказать ей — прости. Ее нет.

Стою у окна, смотрю на улицу, на сухой асфальт. Скоро я вернусь в снежный мир... в мир, где моя одинокая мама и вечно спящая Жанночка. В мир, где нет улицы Риволи с ее пестрой толпой, моста Сен-Мишель, полуигрушечных кафешек с плетеными креслицами... в мир, где нет и не будет Натали. Не будет Флоранс с Ксавье, Николь, и Стефана тоже не будет. Не будет Даниеля.

Что почувствует эта квартира, когда я навсегда покину ее? Когда повернется ключ в замке — в последний раз и шаги утихнут? Когда цветные ого-

нечки лягут на дно сумки, не покажется ли ей ночь — непроглядной, а дни — бесцветными?

У нее нет сердца, ей — все равно! Она станет тихо покрываться пылью, и за окном по-прежнему будет течь мир, безбрежный, безразличный мир, в котором мы только и делаем, что пытаемся согреться.

Каждую ночь — ласковая пытка: ты звонишь в мою дверь; мы встречаемся в подземном переходе; сталкиваемся в каком-то супермаркете... Я так радуюсь. Но радость недолга, ты отворачиваешься, отступаешь... сейчас ты побежишь. Хлопнешь дверью подъезда, затеряешься в уличной толпе, нырнешь в супермаркете за какую-нибудь стойку... Весь сон я ищу тебя, ищу. Мне надо только сказать — не бойся. Я не принесу зла. Но тебя нет нигде.

Тебя нет. И не будет. Я умираю.

Смотрю за окно на сухой асфальт, на безмятежный клочок Вселенной. Мну в руках старенькую тетрадку. Я умираю.

А мирозданию на это наплевать.

В конце тетради — с дюжину переводов. На развороте справа — французский текст, слева — русский. Аккуратные буквы. «L'été indien» Джо Дассена, «Non, rien de rien» Эдит Пиаф... что это?..

Тепло и снежно,
А ты сегодня не придешь.
Тепло и снежно,
На сердце боль, по телу — дрожь.
Но пляшут неспешно
Белесые мушки
И где-то пичужка
Кричит безутешно.

Это — слева. А справа: «Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir...»

Ты сегодня не придешь, —
Будто в сердце острый нож.
Но тихо и снежно
Под небом безбрежным.

И правда, какое дело ему, безбрежному, до ножа в сердце?

Тепло и снежно,
А ты сегодня не придешь.
Тепло и снежно,
На небе ржавый медный грош.
За окнами слякоть
В молочной пустыне.
Я плачу. И ныне
Мне хочется плакать.

Ты сегодня не придешь, —
Будто в сердце острый нож.
Но тихо и снежно
Под небом безбрежным.

Я села на кровать и впервые заревела.

Десять градусов тепла. Если бы не прохладный ветер с моря и отсутствие всяческих ароматов и пчел, можно было бы подумать, что в Люнеле ну очень сильно не задалось лето. Иду по желтой дорожке... Натали ждет меня. Позвонила ей вчера, всхлипывала в трубку. За всей этой кутерьмой чуть не забыла даже попрощаться с ней. Я так и не была в Люнеле с тех пор, как мы приезжали с Жераром. Наши с Натали звонки как-то сошли на нет. И правда, сколько она могла твердить мне: «Люби!» Видимо, я оказалась плохой ученицей.

А впрочем, Натали не учила меня, она просто — была. Это я просила у нее знание. Тогда — знание, теперь — сострадание.

Но оно мне не понадобилось.

— О чем ты жалеешь?

Мы сидели на бежевой кухоньке за круглым деревянным столом. Все здесь было такое милое и почти забытое.

— Ты еще спрашиваешь, Натали... Я не прожила то, что могла прожить... Что хотела прожить.

— Разве ты не была счастлива, когда *просто* любила его?

Я опешила. О чем у нас с Даниелем речь не шла, так это о любви. О страсти — да. Не о любви.

— Почему ты решила, что я люблю его?

— Мармот... Это было ясно еще когда вы приезжали с Жераром. Ты только и говорила что о своем Стефане, но в тебе не было радости. Лишь упоминала о Даниеле — как солнышко зажигалось.

— Просто нам весело было вместе...

Натали расхохоталась:

— Мармот, что ж ты так упорствуешь?! Для тебя «любовь» — почти бранное слово!

Любовь... Я вспомнила, как пол рождественской ночи просидела в каком-то дворе — на окраине города. Как не попадала в рукава куртки у Стефа в коридоре. Как шла по весенней улице Барбес, подняла с земли мокрую веточку с крупными шершавыми почками... под которыми билась Жизнь, — как мне хотелось рассказать о ней Стефану! О ней, о легких пестрых тканях, трепещущих на ветру, об ожидании Чуда, — как хотела ему рассказать! И как потом было больно, тоже вспомнила.

— Знаешь, Натали, я уже пыталась полюбить. И больше не хочу боли. Поэтому Даниель — это... это так...

— Если бы это было «так», ты бы не примчалась.

— Я приехала к тебе, Натали.

Натали улыбнулась, провела рукой по моим волосам.

— Конечно. И еще — потому что больно.

Я молчала. Она была права. «Просто так» я, наверно, не поехала бы. Мы слишком долго не созванивались, к тому же у меня оставалось странное чувство вины за то, что я оставила Жерара. Как-никак он ей родственник. Натали снова заговорила:

— Знаешь, Мармот, боль — это хорошо. Плохо, когда ничего не чувствуешь. Ну, или когда боли слишком много. Много и — ни к чему. Когда просто больно — это то, что надо.

Я хотела возразить, но она остановила меня:

— О чем ты жалеешь? Что было, то и хорошо. — Помолчала. — Такой чудный роман.

Тут уж я не выдержала:

— Да какой роман, Натали! Мы два года только и делали, что кусались!

Натали не спешила спорить. Открыла холодильник, достала полумесяц сыра.

— Будешь?

— Угу.

Сыр был весь в дырках, и пластиночки получались кружевные, причудливые.

— Понимаешь, Мармот, у вас с Дани есть редкая вещь... Как ни странно, редкая. Это...

И тут она сказала слово — «complicité». Не знаю, как точно перевести его. Что-то типа «согласие».

— Подлинное согласие — удивительная вещь. Что бы ты ни делал, ты не боишься выглядеть не-

приглядным или смешным. Ты знаешь, что любой твой бред поймут и примут... Разве это не похоже на роман?.. И на любовь?

Натали легко было рассуждать. Я, как взрослая девочка, понимала, что любовь — это когда встречаются, милуются, иногда даже в чем-то клянутся. А изображать старого паралитика с клюкой и не стыдиться точно такого же кривляку — разве это роман?

— Именно, Мармот.

Так было странно слушать ее. Будто она свалилась с луны.

— Натали, любовь всегда заканчивается... ну, этим.

— Верно. Этим она как раз и заканчивается. А так — можно встретиться через двадцать лет с открытым лицом.

— Через двадцать лет!

Натали раскладывала на тарелке сырное кружево. Улыбнулась:

— Да. И тогда, возможно, вы захотите начать все заново. Вы не сможете иначе.

Я сказала совсем тихо:

— Не хочу через двадцать лет. Хочу сейчас.

Натали покачала головой, вздохнула. Улыбка по-прежнему не сходила с ее губ.

— Какой ты упрямый, Мармот. Кто виноват тебе, что ты столько лет не понимала, что перед тобой не только твоя радость, но и твой мужчина?

Я печально вздохнула. Натали, помолчав, добавила:

— Может, оно и к лучшему. Ведь исчерпанное опустошает. А непрожитое — остается с тобой. Навсегда.

Неужели я и вправду никогда его не забуду? Отодвинула занавеску, бросила взгляд на унылый серый дворик.

— *Навсегда!* Похоже на приговор, Натали.

— Навсегда — похоже на чудо, Мармот.

Море — холодное. Даже страшно подумать войти в него. Опускаюсь на корточки у кромки воды, волна набегает, касаюсь ее рукой. Бр-р-р! Но холод не зимний, а какой-то осенний. То ли дело сейчас в Москве — минус пятнадцать, и снег валит, как щебенка из грузовика. Представляю, каково было бабушке оказаться в России, всю юность прожив на юге Франции. Тут о снеге и не слыхали... А если бы — вот было бы чудо — тепло и снежно...

Я резко поднимаюсь. Волна набегает на кроссовки, едва успеваю отскочить.

Вот оно! «Тепло и снежно»! А я все гадала, отчего бабушка так странно перевела простую фразу «*Tombe la neige*» — «*Падает снег*»! Потому что она хотела сказать — Чудо! *Падает снег* — для француза это уже волшебство. А для нас — ничего особенного. Зато *тепло и снежно* — на всех языках похоже на сказку.

Как там было-то...

Ты сегодня не придешь, —
Будто в сердце острый нож.
Но тихо и снежно
Под небом безбрежным.

В этой теплой белоснежной сказке — тихая драма. Ты не придешь, ты не выйдешь со мной под мягкие летящие хлопья. Ты не будешь улыбаться этому чуду, в теплой тишине скользящему с неба. Улыбаться, держа мою руку в своей, — чуду, уготованному нам одним. Неужели тебе не хочется радости? Почему ты не спешишь, ведь волшебство скоротечно!

За окнами слякоть в молочной пустыне...

Я не выйду на улицу. Я буду стоять у окна, прижимаясь лбом к стеклу, и смотреть, как тает наша радость. Снежный перинный простор проседает: теплая земля не удержит его надолго. Мне хочется плакать.

И я плачу.

Натали садится рядом, берет мою руку в ладони. Тычусь носом ей в плечо, затихаю. Она гладит мои волосы. Достает бумажную салфетку, осторожно стирает тушь с моих щек. Заглядывает в глаза.

— Са ва?

— Са ва...

Конечно же, у меня все в порядке. Как всегда.

— Вот и хорошо. Это такое счастье — просто любить. Просто желать удачи. Просто помнить.

Мы помолчали.

— Натали?

— Да, Мармот.

— Я несчастна, Натали.

IV

Прошел год, и еще один. Жанночка лопочет вовсю, мама сидит с ней — я неплохо зарабатываю в одной французской фармацевтической фирме. По вечерам мама вспоминает отца, рассказывает, как они жили без меня, иногда плачет, но все реже.

Я? А что — я? С работы приползаю, в выходные отсыпаюсь. С театром пока — ничего. Иногда хожу на премьеры, где только тоскую и злюсь.

Первый год я еще звонила Натали, но говорить было не о чем, так все и завяло. Последнее, что я слышала от нее, — Жерар женился, *она* тоже работает в «Рено». Я еще удивилась — французы тянут до бесконечности с браком, может, он этим что-то хотел доказать? Но кому? Да Бог с ним.

Странно, Франция возвращается ко мне — особенно зимой. Когда падает снег. Чем глубже сугробы, тем острее воспоминания.

Подруги спрашивают: а ты хотела остаться? ну как они, французы? не жалеешь, что вернулась?

Я не знаю — жалею ли. И «как» они, французы, мне неясно до конца. Все разные. Данька; Стеф; Жерар; мсье Перье; Ксавье; Юбер... француженки интересуют?

Не знаю — жалею ли, но я помню, я всех их помню. Лучше, чем они сами себя. А когда идет снег, я помню даже то, чего не было.

Жанночка — я зову ее Жаннет и говорю с ней только по-французски (кто же еще, как не я?) — сидит на полу и строит пирамидку из кубиков. Захожу в комнату: Жаннет оборачивается, верхний кубик падает. «Са ва?» — спрашиваю. Она берет кубик, терпеливо ставит на место, и он тотчас обрушивается. Снова ставит его. Кубик размышляет мгновение, потом замирает. «Ся вя!» — на пухлых щечках — ямочки.

Мой синий свитер — *как у художников; как у Стефана!* — валяется где-то в шкафу, я так привыкла на работе к костюмам, что сейчас мне кажется нелепым явиться на люди в вязаном мешке.

А эти сережки я ношу до сих пор. Когда-то не могла застегнуть их от волнения.

Я зачем-то сохранила свой первый телефонный счет...

А занавеску я так и оставила бабульке — не тащить же с собой.

Это открытка с Нотр-Дам. Во-он там, высоко — химера, видите?

А этого узнаете? Даже Жерар понял, когда Натали показала ему рисунок. Вы что, сурка никогда не видели?

А видели лисицу с пятнадцатью хвостами? А курицу, листающую тетрадки?

А вам никогда не приходилось лупить кого-нибудь по физиономии? Знаете, как она вытягивается от удивления?

А на вас никогда не орали за то, что вы съели горстку дорогущей клубники? О, высокие переживания!

И еще я помню, как Юбер перегрызал телефонный провод, — будто сама это видела. И как он сдавливал бока Надиной сумки... У Надьки, кстати, сейчас какой-то новорусский бойфренд, она опять чудовищно поглупела. И больше не хочет стать танцовщицей.

Я же помню пробковый кораблик на Новый год, помню, как Николь бросила, проводя помадой по губам: «У Дани появилась девушка!», и как тукнулось сердце, тоже помню.

* * *

Помню, как сидела у Даньки на коленях в студенческом буфете и как в последний вечер, когда я прощалась со всеми, он кормил меня золотистыми чипсами. Помню, как ждала Даниеля потом, как он произнес — «только один день по-настоящему»... или это я сказала? Вот тут я что-то подзабыла. Помню кипень цветов под лопатками, и как я бежала за тобой в домашних туфельках, увязая в снегу, и как стояла, прижавшись лбом к теплому стеклу, за которым лениво текла нерусская зима, как смотрела на бульвар Бомарше и ревела. И я уже не знаю, что было, а что мне приснилось. Может, мне приснилось все... все.

Все, только не это: «Лиз, давай будем смотреть друг на друга сквозь пламя. И запомним эту минуту на всю жизнь. Понимаешь? Всю жизнь будем ее вспоминать!»

Я обещала Даньке, я не могу забыть.

Ведь как можно забыть счастье?

И потому я помню красный навес кафешки, который было видно из моего окна, забитую мотоциклами площадь Бастилии, мокрую от дождя крутую лестницу, ведущую к Сакре-Кёр, где я в самый безденежный момент нашла бумажку в сто франков; помню, как решила сэкономить в метро на билете и налетела на контролера, здоровенного детину, и он отпустил меня, повертев в руках мой билетик недельной давности, а я потом всё дума-

ла — пожалел или недосмотрел... Помню утреннюю росу на железных стульях в Люксембургском саду, отблеск неоновых вывесок на лицах людей — вечером на Монпарнасе, фотографию, которую я хотела купить у букиниста возле Сены, да так и не купила, — большой черно-белый снимок под старину: славный такой мальчишка бежит по улице с длиннющим батоном хлеба под мышкой, и в глазах его — такой задор, такие солнечные зайчики...

Я помню все или почти все. Но я не знаю, что мне делать с этими воспоминаниями. Они говорят мне только об одном: что я недолюбила и недоучилась.

Недолюбила этот город, этих людей. И недоучилась у Натали любить их.

Думала об этом как-то. Ведь и правда — уехав, я ни разу не позвонила ребятам. Как они там? По-прежнему вместе? Все еще учатся? Или разбежались — работают... Может, вообще разъехались по разным странам? Николь все время тянуло в Австралию, например. К кенгуру.

И однажды, идя с работы, я завернула в магазинчик, где продавались телефонные карты.

— Здравствуйте, можно поговорить с Николь?

— Это я...

— Николь? Не узнала тебя... С днем рождения!

Короткое замешательство. По акценту меня можно вычислить в два счета, да уж больно неожиданно. Понимаю.

— Лиз?

Боже мой, как она обрадовалась! Расскажи ей, как я живу! Ну что я могу путного рассказать! Работаю...

— А вы как?

— Отмечаем! Дани с Фло сейчас вернутся, покурить вышли. Фло разошлась с Ксавье еще год назад, и за ней Дюваль приударил — помнишь Дюваля? А у Дани скоро вторая дочка будет! Он теперь у нас отец семейства, учебу бросил, работает, вот, забежал на полчасика, как ты вовремя позвонила!

Я подумала — все. Дани уже на другой планете. Наши два года вместе — как сон для него. Теперь — работа, памперсы... Впрочем, у меня — то же самое. Только я все помню.

Поколебалась мгновение — да чего уж там! — бросила:

— А как Стефан Лётюллье поживает?

Николь замялась:

— Это тот, которого вы с Даниелем вышучивали? А, он давно ушел, сессию не сдал, что ли... Не знаю. Мы уж и забыли о нем. А вот и Дани с Фло. Сейчас ее позову!

— Лиз! Не может быть! Привет! Са ва?

Поохали-поахали, а потом Флоранс просто сказала: «Даю Даниеля!»

Я не хотела с ним разговаривать. Зачем? Он был уже за миллионы световых лет от меня — со своей Элен и дочкой, которую звали Адель, — Николь просветила. Мне даже неловко было вот так вламываться в его устоявшуюся жизнь: воспоминание не воспоминание, что-то никчемное, прошлогодний снег. Если бы я с тех пор кого-то полюбила, как он любил Элен, возможно, и я тогда тоже...

— Фло... не надо!

Но было поздно. В трубке раздалось такое знакомое «Алио» (так Дани мое «Але» копировал)...

— Алио! Лис?

— Привет, Дани.

Я не знала, как с ним говорить. Не знала, что именно он успел забыть. А что — нет. Все-таки.

И еще — я услышала его голос, через три тысячи километров — такой милый мне голос.

— Ну как ты?

Мне и вправду внезапно стало ужасно интересно, как он. Нет, не был он ни за какие миллионы лет. А всего лишь — за три часа лету. Какая ерунда! «Ну как ты?»

И он стал рассказывать. Торопясь, потому что для меня это был международный звонок. Рассказывал то, что я уже знала, — бросил учебу, работает, скучновато, малышка растет, скоро вторая появится, делали УЗИ — будет девочка, ну вот, одни тетки вокруг...

Он говорил мягко и открыто — будто между нами было все и ничего не было... вернее, так: было только хорошее (а ведь и верно?). Он стал спокойным и доброжелательным — и сейчас так походил... так походил на мсье Перье!

А потом мы попрощались, как будто виделись вчера и завтра тоже увидимся. И было в этом нечто умиротворяющее. Улыбчивое.

Я положила трубку, прошла через комнату, отдернула штору. За окном падал январский снег, желтый в свете фонаря. Стояла смотрела на него. Поймала себя на мысли, что до сих пор эта произнесенная Натали фраза жила во мне — *через двадцать лет вы можете начать все сызнова*... И сейчас я глядела на белый двор, на падающие хлопья. И такой покой на меня снизошел. Вспоминала голос Дани — мягкий недрогнувший голос, — и мне было так тепло. Я подумала: тепло и снежно. Улыбнулась.

Я больше не торопилась увидеть Дани. Ни сейчас, ни через двадцать лет. Я просто — просто так, ни за что, ни ради чего — его любила. Просто помнила. Просто желала удачи.

Так тепло. Боже, как мне было тепло!

На остатке карточки я набрала номер Натали.

Никто не ответил.

Я стала думать о ней. О ней и о себе. Мне двадцать семь. После Даниеля я так и не встретила никого: никого, с кем могла по-настоящему быть собой. Может, и не встречу.

Когда-то — на пути к морю — я готовилась провести две недели в обществе одинокой, махнувшей на себя рукой женщины. А это оказалась Натали. Натали!.. Через пятнадцать лет мне будет столько же.

А если к тому времени ничего не изменится в моей жизни? Если я буду по-прежнему ходить на работу, которая не дорога мне? Буду возвращаться в дом, где меня никто не ждет? Что тогда? Одни воспоминания?

Конечно, они останутся со мной, потускневшие, стершиеся на сгибах, — аккуратные стопочки в памяти.

Но я не буду цепляться за них. Потому что у меня в руках окажется нечто большее. Мудрость, которая приходит с возрастом. И покой, который приходит с мудростью. И еще любовь, что идет следом. Натали говорила — настоящий покой всегда с любовью...

У меня будет сестренка со своими девичьими секретами; мама, друзья; будут книги и письма, лоскут вечернего солнца, тихо бредущий по стене, зеленый чай, что, заварившись, ложится на дно чашки лопушками; будет запах акации, новые города, клейкие листочки по весне, самолетные трапы, теплые ливни, гигантские бабочки, кораллы на дне моря — для них одних я научусь нырять, будет сцена... обязательно будет сцена... и, возможно, мужчина рядом. А может даже, у меня будет ребенок.

Я не знаю. Но если вдруг моя жизнь окажется тем, что называют счастливой жѐнской судьбой, она будет тесна мне. Потому что мне нужно чудо. Чтобы было снежно и тепло. И чтобы — как сейчас, когда я стояла и смотрела на хлопья за окном, у меня в сердце был этот покой. Который ценнее семейного уюта. И с ним — любовь — не к кому-то, а ко всему сразу. Та, что полнее страсти.

И я тогда буду уверена, что опавшие листья не менее прекрасны, чем объятие.

Я буду знать: абсолютно все в мире похоже на чудо, когда ты мудр.

Когда ты любишь его, этот мир.

Когда любишь.

ЦИНИКИ
История любви

— ...*Что, устав от поднятой веком пыли, русский глаз отдохнет на эстонском шпиле*. Как мило с его стороны, что он переписал мне Бродского. Петер пишет с потрясающей регулярностью. В среду я знаю, что назавтра в почтовом ящике обнаружу его письмо. Это очень удобно.

— Ты уедешь в Таллин?

Я пожимаю плечами:

— Почему бы и нет?

— Что делать там будешь?

— А что я здесь делаю? Устроюсь фотокорреспондентом в какую-нибудь газетенку. По вечерам буду пить пиво и пялиться на Финский залив... в лучах заката.

— А еще готовить Петеру ужины и стирать носки.

— Тебя заедает?

— Меня? Да нет. Ревновать тебя к Петеру было бы в высшей степени тупо. У вас куда более долгая история. И к тому же ты почти его жена.

— Я вышла бы за тебя, но ты не свободен.

— Знаешь, Демьянова, я на тебе никогда бы не женился, извини. Развестись я всегда могу. Но не для того, чтобы связаться с тобой. Ты же чокнутая.

— А-а... Что же ты любишь чокнутую-то?

— За то и люблю.

Он наклоняется надо мной. Горячие губы; привкус кофе. Падаю в поцелуй: закрыв глаза, распахнув руки, лечу в бездну. Он показал мне, как может смеяться плоть. Уже не желаю иного. Никого иного.

— Мне не забыть тебя.

Хотела добавить: никогда. Но этот мелодраматичный тон не идет мне.

— Забудешь.

— Никогда!

«Не дождешься!» — и то звучало бы не так вызывающе.

— Скоро поедешь?

Не ожидаю подвоха.

— Скоро. Петеру легче встретить меня в выходной — с работы не надо отпрашиваться. Уеду в какую-нибудь пятницу или субботу. Уже виза есть. Хочешь, покажу?

Он рассматривает тошнотворного цвета вклейку в загранпаспорт. Еще неделю назад мне казалось, что она благородного бледно-зеленого оттенка. Иван листает странички паспорта.

— Я рад за тебя. Вы месяца три уж как не виделись?

— Два. С половиной, — отвечаю замогильным голосом. Балашов сияет: не к добру.

— Да это же замечательно! Вы из постели трое суток вылезать не будете.

Больше не скажу ему: «Мне не забыть тебя». Пусть хоть пулю себе в лоб пустит.

— Ошибаешься. У меня будет отдельная комната. У них в семье с этим строго.

— Станете встречаться тайком. Даже романтично. Тогда и забудешь меня.

В его словах — ни нотки ревности или хотя бы досады. Я отворачиваюсь.

— Это же здорово, Демьянова! Ты что, разве не любишь своего будущего мужа?

Зарываюсь лицом в подушку. Какое все же одиночество.

— Ну-ка, ну-ка, посмотри на меня! Ты еще и лицемерка? В придачу ко всем твоим «достоинствам»?

Он разворачивает мое послушное тело.

— Я даже готов заступиться за честь Петера. Что ты себе позволяешь?

Я чуть пугаюсь. Таким тоном разговаривают с описавшимся щеном. Перехватываю взгляд: ну вот, это лишь игра. Сейчас он «заступится за честь Петера» — бедный Петер! — горячие губы легкой волной побегут по вздрагивающему телу (на спину уже брызнули мурашки); руки прижмут к одеялу безвольные плечи; и вот уже плоть затоплена прозрачным теплом, от которого хмелеешь и хочется петь. Я тихонько вскрикиваю. Но им — там, за стенкой — должно быть, слышно. Пускай задохнутся от злобы и зависти — жалкие царьки этой прокаженной коммуналки.

* * *

— Даша, вы опять приводите мужчин.

— Это не «мужчины». Это друг детства.

— Мы вчера *слышали*, какой это друг детства. Кроме всего прочего, он не захлопнул входную дверь. У нас в прихожей дорогие вещи. Вы что, дали ему ключ?

— Я живу здесь так же, как и вы.

— Да нет, миленькая, не так же. Вот я позвоню вашей тетушке и растолкую ей, чем вы тут занимаетесь. Между прочим, у меня двенадцатилетняя дочь. Какой пример вы ей показываете!

— Ваша дочь сама кому хочешь пример покажет. Она уже обтерла все углы — одним местом.

— Надо же, какая нахалка! Мало того что у самой совести нет, еще достает наглости огрызаться! Алексей, что ты там сидишь! Твою семью унижает какая-то... пигалица, а ты даже выйти не желаешь!

Значит, пигалица. Сказать «блядь» духу не хватило. А как хотелось. По лицу видно.

Пауза. Затем — чем-то неуловимо отвратительный шорох нащупываемых тапок, шарканье. Еще один борец за нравственность. А задвижку в ванной никак сам выкорчевал. Пускай только рот откроет. Я ему напомню, как он ворвался ко мне в ванную в своих отвратных семейных трусах — и требовал «заняться этим». С тех пор, когда в душ иду, ставлю у двери таз с ледяной водой. Пускай закаляется, потаскун.

Из недр соседской комнаты выплывает помятая морда.

— Драть таких надо.

— Алексей Гаврилович, а вы задвижку в ванной еще не починили? А может, вы... это... сами ее и... простите... того?

— Это еще зачем мне? — Морда растеряна, запугана, озлоблена.

— А девочек молоденьких посмотреть.

Катерина Васильевна становится похожей на вскипевший чайник со свистком.

— Алексей! Убери эту циничную хамку сейчас же! Я за себя не отвечаю!

Шныряю в свою комнату, щелкаю замком. Черт знает этих психов.

Катерину Васильевну жалко. Жизнь так и утекла: в двухкомнатной коммуналке, нос к носу с ублюдком мужем и дочерью, которая то и дело заявляет ей «заткнись» и «пошла вон». Вместо «какой пример вы показываете...» лучше надавала бы этой дуре затрещин. Мы могли бы стать друзьями; сообщницами; заговорщицами. Но — нет: она же на службе. На страже интересов убогонького семейства. Она разучилась: дружить, шептаться, дышать.

Сквозь дверь доносятся редкие всхлипы. Не мне их утишать. Я сама бы всплакнула, но для этого я слишком цинична.

— Расскажи мне о Таллине. О Петере.

— Таллин разный. Есть старый город — он будто игрушечный. Там мощеные мостовые — как у нас на Красной площади. Крохотные магазинчики, в них — чистенькие вещички, музыка играет. Так смешно: они

говорят по радио «реклаам». Сразу чувствуешь себя в гостях.

— А ты хочешь там поселиться.

— Наверно, и в гостях можно жить. Еще там миллион барчиков: через каждые десять шагов. Мы как-то поздно вечером попали с Петером под дождь, под проливной дождь. Бежали по глянцевой мостовой, мимо блестящих машин... там, знаешь, одни иномарки... я почему-то запомнила ярко-красный «вольвешник» в круглых каплях. И еще золотые фары в темноте. Так вот, мы нырнули в первый попавшийся подвальчик. Там была узенькая витая лесенка... Представляешь, десять ступенек — и ты окунаешься в другой мир... будто выключили дождь, лупивший по мостовой, вообще выключили всю жизнь за пределами этого оранжевого мирка... Там стены были оранжевыми. Или мне так кажется. Картиночки... столики дубовые. Бармен в белой рубашке с бабочкой. Петер говорил с ним по-эстонски. Ой, так забавно: они гласные тянут, а на согласных, наоборот, спотыкаются. Будто мячик прыгает.

— А Петер по-русски с акцентом говорит?

— Вообще-то да, но немножко. Мама-то у него русская. Такая, знаешь... хлопотушка. По выходным пироги печет.

— ...И ты будешь печь.

— Не буду.

— Будешь.

— Тебя это не касается. И не коснется.

— Да уж это точно. Что у нас осталось? Среда, четверг, пятница. Если ты уедешь в субботу.

— Не раньше. Так я и упущу последнюю ночь, как же.

— Петер-то ждет.

— Подождет. А ты когда — за женой?

— Тогда же. Посажу тебя на поезд и — в Дмитров. Внучка так удолбает дедушку с бабушкой за четыре дня, что появиться надо бы с бутылью валерьянки. Кот зашуган уже так, что из-под дивана вылезает только ночью.

— Ах, вот для кого — валерьянка! Мол, выпьем, котенька, за светлое будущее...

— А мы? Выпьем за светлое будущее?

Рубиновая жидкость рвется вон из узкого матового горлышка. В углу уже стоят три бутылки кагора. Пустые.

— Выпьем, Балашов. За то, чтобы будущего не было.

— Ух ты. С чего это вдруг? Тебя, кажется, ждет католическое венчание. С любимым человеком. Меня — любимые женщина и ребенок. Неплохое будущее. Правда, в нем не будет...

— ...тебя.

— И тебя.

Мы дружно смеемся: снова говорим хором. Вообще мы часто отвечаем одинаково. Так сладко: в эти мгновения кажется, что никого ближе нет. Роднее. Я сказала: «...тебя». А он: «И тебя». И затем мы, не сговариваясь, вместе: «Переживем».

Никого нет ближе.

* * *

— ...Дашка, работа есть.

Откинула одеяло. С закрытыми глазами села на постели.

— Знаю я вашу работу. Школьников фотографировать.

Посмотрела на часы. Это форменное издевательство: только половина десятого. Звонят ни свет ни заря, как к себе домой.

— На сборы тебе полчаса. Репортаж надо сделать. Срочно.

— Ой, Юль, а ехать-то куда?

— «Речной вокзал», первый вагон из центра. Там тебя подхватят. Они на машине.

— Кто «они»? Куда мы поедем?

— Ну, наши ребята. Фотографу прозвониться не можем, а материал срочный. Тринадцатилетняя девочка утонула. Что-то насчет неразделенной любви. Где-то за городом. Ты пошевелись, без десяти одиннадцать они будут на «Речном». Опаздывать не советую.

«Опаздывать не советую». Началось. Еще ни копейки не заплатили, а уже нервы треплют. Удивительно, как люди живут по двум стрелочкам.

Примчалась без пяти, вся в мыле. Аппаратура, между прочим, — не воздушный шарик. А эта парочка заявилась только в одиннадцать. Андрей мне сразу понравился. Иван же начал с того, что прихватил за талию. Ненавижу фамильярность. Всю дорогу я подчеркнуто не замечала Ивана, говорила только с Андреем. Терпеть не могу, когда клеятся с пол-оборота.

Потом я, правда, успокоилась. Между этими двумя что-то было явно. Люблю геев. Они безобидные.

Материал мы сделали.

Снимки мои понравились. Мы стали работать с Юлькой — в паре.

Потом я узнала, что Иван «нормальный». При жене и собственном чаде. А все-таки с Андреем у них что-то было.

Что особенно бесило — Иван каждый раз встречал меня дурацкой фразой: «Привет, фрау фотограф» — это намек на мой школьный немецкий. Иногда добавлял: «Вас издас».

— Да кто меня издаст, — морщилась я. — Опять пленка — псу под хвост.

— Демьянова, я в тебя верю. — Тут Балашов нагло припирал меня к стене, тыкался носом куда-то между шеей и плечом. Изображал африканскую страсть. Я даже Юльке нажаловалась.

— А тебе не кажется (у Юльки с нравственностью всегда были нелады), что такой мужик тебе и нужен?

Я что-то вякнула про Петера.

— Знаю я все про твоего Петера. Ты чего себя заживо-то... На похороны позовешь?

— Не-а. Я брошусь в речку. От неразделенной любви. Как та девочка из первого репортажа.

...Визу в Эстонию дали только на месяц.

Весь июнь лили дожди. Мы съездили в Пярну: гуляли по сырому песочку, чертили веточкой слова-загадки.

Сперва я захлебывалась от злости: сдержанность Петера великолепно иллюстрировала байки о прибалтийской «горячности». Началось это, конечно, не в июне, а гораздо раньше. Плакать не умею, поэтому оставалось только тихо беситься. Принуждать не люблю.

Потом наступила апатия. Весь июнь мы довольно мирно просуществовали с Петером: гуляли по магазинчикам, слушали джаз, пили пиво, наносили визиты его знакомым; в Пярну бродили по побережью, играли в бильярд, как-то раз нас даже занесло на пляски для финских пенсионерок... Петер сказал, что в Эстонии все дешевле, чем в Финляндии, и отдых в том числе. Вот они и валят, старушки-то.

Дома у Петера мне отвели комнату. Он несколько раз наведывался ко мне «под покровом ночи», но все уже было не то, я ничего не хотела. К тому же раздражало, что после по утрам все сидели с улыбкой Джоконды на лицах. Правда, когда мы уехали в Пярну, Петер добросовестно выполнял свои «обязанности». От этой добросовестности просто тошнило. Вообще-то мне было уже все равно. Моя интимная жизнь потерпела крах.

Зато мы подружились с мамой Петера. Добродушная, чуть суетливая женщина. Обещала научить меня пироги печь. Все посмеивалась над Ханнесом, батюшкой Петера. Длинный, востроносый, с минимальным чувством юмора. Какая-то шишка у них на телевидении. Он даже утреннюю улыбку Джоконды не мог выдавить.

Еще были две сестрицы — одна из них двоюродная, приехала из Вильянди «погостить» (отвратитель-

ное слово) — обе с непонятными именами и дежурными улыбочками.

Ну и что. От этой семейственности, дружных завтраков и ужинов на меня повеяло таким теплом, таким... покоем. Вернувшись в объятия Катерины Васильевны и ее благоверного, хотелось выть. Мама живет за городом, каждый день не покатаешься. Спасибо тетке — выручила с жильем.

Спасибо-то спасибо, а в холодильнике — банка майонеза и все. Мажешь на хлеб и ешь, пока желудок не взбунтуется. Еще есть пять пачек геркулесовой кашки. Видеть ее не могу.

Хочу заходить в крошечные магазинчики, касаться кончиками пальцев мяконьких вещичек. Скользить взглядом по остроконечным крышам, слушать речь, похожую на детский мячик. Хочу бродить под огромным зонтом по глянцевой булыжной мостовой. Смотреть на городское море, глотать его горьковатый сырой ветерок.

Я, конечно, очень цинична, но так всем будет лучше.

Шариковой ручкой Балашов рисует на груди моей мишень. Между прочим, прямо над сердцем. Выводит по дуге аршинными буквами: «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». Для него это — всего лишь выражение глубокой симпатии. Я тоже люблю его. Не больше, чем он — меня. Не больше.

— Моя жена фантастически занимается любовью.

— Да?

— Да. Можно все на свете забыть.

— Потрясающе. Как жаль, что я не ее муж.

На прощанье — ни звука. Граммофон за стеной. В этом мире разлука — лишь прообраз иной. Ибо врозь, а не подле мало веки смежать вплоть до смерти: и после нам не вместе лежать.

Хотелось бы все на свете забыть, кроме Бродского.

Нет, я, пожалуй, оставила бы в памяти один... два... три вечера...

А ну их туда же — к чертям собачьим.

— Что у вас было с Андреем?.. Не отпирайся.

— Даже не собираюсь. Недомолвки возникают только оттого, что люди боятся задавать вопросы. А не потому, что на невысказанные вопросы кто-то не отвечает. — Иван пожимает плечами. — Я хотел почувствовать себя женщиной.

Ах вот откуда эта пьянящая, легкая, подобно дыханию, нежность. А я-то! Все эти годы воображала себя подле квадратномордого красавца с ямкой на подбородке. Правда, Петер не слишком подошел под это определение. Но прибалтийская сдержанность казалась дальней родственницей мужественности. Словом, чем шире плечи, тем ближе оргазм.

А завершилось все ласковым, как юная леди, Балашовым. Хрупким и ласковым. (Хотя и вовсе не по-девичьи на каждом углу демонстрирующим свою чувственность.)

Вообще-то я ничего не знаю о юных леди. Возможно, не так-то они и нежны.

Теперь квадратномордым и дуболапым — отставка. Эй, вы, слабо почувствовать себя женщиной?

...А ведь когда-то я заглядывалась на одного из этих — на учителя физкультуры средней школы номер понятия не имею. Как раз на того — с помятой физией, из соседней комнаты, в тапках. Это он сейчас распустился, а было время, когда чуть ли не в бабочке шатался по дому. Поигрывал бицепсами. Мы весьма мило кокетничали. Пока он не ворвался в ванную, я и не знала, что он идиот. Если женщина смеется над тобой, значит, ты проиграл. Она не простит тебе этот смех. Ты для нее уже не мужчина.

...А вот бывает еще хлеще: уже не мужчина, а — больше.

Больше? Что? Больше чем «мужчина»? Дубомордые обиделись, насупились.

Больше!! Романтичные, готовые топиться девочки хлопают в ладоши: это любовь, любовь!

Это не любовь, девочки. Больше.

Любовь дружит с Верочкой и Наденькой. Все трое рассчитывают на лучшее.

Мы не ждем ничего.

Мало того: мы не плачем, стоя над пропастью. Мы слишком мудры, чтобы плакать. И слишком благоразумны, чтобы сорваться с обрыва.

Ведь, даже оступившись, я всегда вскрикиваю. Я так боюсь как-то поранить себя.

Верно, оттого и во влажный сентябрьский вечер к занавешенной сырой пылью высотке Университета,

линялой мокрой лавчонке я редко возвращаюсь в своей короткой памяти. Наверно, боюсь пораниться.

...Юлька принялась гоняться с диктофоном за прохожими. Оставили машину у дороги. Иван просто взял меня за руку, и пошли — сквозь рыжий парк, по красноватому от влаги гравию. Камешки чуть щелкали под каблуком. Я удивилась бы, если б в тот вечер он не поцеловал меня.

В промозглой опускающейся серости, под дурацким куском полиэтилена вместо зонта (капли сбегали по краю и падали на новую юбку) этот чувственный чужой муж с замашками гея становился мне немучительно дорог.

Не желала большего. Думала — унесу с собою эту нежную вспышку...

Унесла. Как котенка, лелеяла. Через пять дней наступил октябрь, прогнал жар, температуру, рыжий парк в мареве дождевых капель. Я снова вышла на работу.

— Kuidas käsi käib?

— Ikka kaub...

На этом мои познания в эстонском исчерпываются. Петер голубит честолюбивую мечту — отправить меня по прибытии на курсы: дабы говорила я на языке его предков. Подумать только: выучить четырнадцать падежей! Плевать, не то еще вызубривали.

— Тты неэ подходилаа к тэллэфонуу. Что-тто случиллось?

Маленький мячик прыгает: катится по гласным, на согласных подскакивает. Хочется ласки.

— Петер! Петер!

— Я слышшу тэбя. — Он повторяет свой вопрос.

Случилось... Случилось лишь то, что теперь постоянно хочется ласки.

— Соседи, как обычно, оборвали провод. А сами трубку не берут.

— Почеэмуу?

— Принципиально. Им по межгороду никто не звонит. Петер! Петер, ты слышишь меня?

— Я хорошоо тэбя слышшу. Когдаа тты приезжаешшь?

Не то. Он не слышит меня. Но оглянуться не на кого: тот, нежный, как юная леди, так же далек. У нежности нет лица, если она неизбирательна.

— Петер, я задержусь еще на неделю. Мама просила побыть с ней перед отъездом. Ты не против?

— Нэтт, делай какк нуужно. Тты позвонии, когдаа билетт возьмешшь.

— Петер, я позвоню. Как ты?

— Нормалноо. Тэбе привэтт отт маамы... и отт сэстрыы.

Про сестрицу мог бы и не привирать. Где это написано, что в семье все должны друг друга любить?

— Спасибо, Петер. Передай им то же... самое. Маму... поцелуй.

— Хорошоо. Буду ждатть звонкаа.

— Пока, Петер.

Шорох за дверью. Растопырили уши: неймется узнать, когда я отсюда выметусь.

Я-то буду смотреть на Финский залив, а вы — на помойку под окном. Буду без визы кататься в

Германию и Бельгию. А вы — если только на оптовый рынок и на барахолку.

(...Патриот в семейных трусах лупит кулачищем в грудную клетку:

— Меня отсюда калачом не выманишь!

Одного не учел: никто, собственно, и не выманивает.)

Я для них — сволочь, променявшая радости коммунальной жизни на ужасы пестрого буржуазного мирка.

Ничего, еще посмотрим, кто из нас окажется счастливее.

— ...Ты изменял жене?

Огромная дождевая капля прячется под кофточку, ныряет в ладошку лифчика.

— Так, пару раз.

— С твоими-то ухватками... Маловато.

— Не рассчитываю увидеть что-то принципиально новое. К тому же всегда спрашиваю себя: «Зачем?» Все, что мне нужно, я получаю дома.

Про оргии в семействе Балашовых мне пока ничего не известно. Даже если бы знала — все равно странно: а как же нездоровый синдром завоевателя? И вообще, что значит «зачем»? Тоже философ выискался. Обидно как-то... за всех баб — в моем скромном лице. Да, за всех перевозбужденных, зацелованных баб, сидящих на мокрых скамеечках планеты в сырых, загрубевших лифчиках и выслушивающих раздумчивое: «Милая, зачем?» Дыхание срывается, при каждом вдохе проснувшийся сосок касается холодного кружева (х/б, атласа...

что там еще бывает) — это будоражит воображение еще больше. Хочется задохнуться или прекратить приторную пытку. Или впасть в сладкое ожидание. Надеюсь, я правильно поняла среднестатистическую женщину.

Она готова сделать ему одолжение, он предупреждает ее восторженное «да!» мудрым вопросом. Мудрым — до цинизма.

Тогда вообще незачем было приближаться. Сидел бы дома, а не героически шатался бы по паркам — с промокшими ногами. Не обломится тебе, Дашка, на закате личной жизни... Может, он импотент?

Сейчас смешно вспоминать все это.

Беру в ладони твое лицо. Медленно целую губы. О чем ты думал, лежа поперек безразмерного теткиного дивана... Губы пробуждаются, не отпускают.

Ускользаю:

— Я принесла кофе.

— Тебя не было лет сто. Но я подумал, что выходить на кухню мне все равно не стоит. Аборигены даже жарить не будут — сырым съедят.

— Эти поборники чужой нравственности уже в койке. Представляешь — в одной комнате с двенадцатилетней дочкой...

— ...не разгуляешься. Их завидки и берут — на наш-то счет.

— А то... Я открыла окно на кухне: душно было. А там такой ливень. Стояла и вспоминала что-то... Очнулась только, когда чайник свистнул.

— А я думал о тебе. Помнишь, ты спросила меня, изменял ли я жене? В первый вечер? Мы еще продрогли как собаки, и ты простудилась.

— Ну да. Ты заявил, что все женщины одинаковые. Мне ничего не оставалось, как пискнуть: зато я эмоциональная...

— Да... вид у тебя был отчаянный... Мне так смешно стало: это смахивало на соблазнение... которое на соблазнение вовсе не похоже.

— Пыталась тебя хоть чем-то заинтересовать.

— Брось. Помнишь, я как-то сказал: я в тебя верю? Ты перед этим приносила свои фотоработы. Они меня поразили.

— Правда?

— Отчего же неправда.

— Никому до моего творчества нет дела. И денег оно не приносит.

— Демьянова, ты хочешь все и сразу. Так не бывает. А я действительно считаю, что ты — можешь. Легче пробиться, если знаешь, что на земле есть люди, которые в тебя верят.

— Ты — такой — единственный. Хочется снимать — для тебя.

— Ну так сними...

Маечка летит в пространстве. По дороге цепляется за спинку стула, медлит, срывается вниз.

Ныряю в тепло губ: ухожу под неторопливую волну. Мне кажется, любое море теперь будет пахнуть для меня кофе. Горьковатым кофе: Балашов пьет его без сахара. Извращенец.

Иван подминает под себя: мира больше нет — лишь холодок под лопатками... и дальше, выше — горячий хмель, погружение... в глинтвейн; погружение.

— Я как-нибудь утону в тебе, Демьянова.

Что ж, встретимся на дне. Друг у друга. Как хорошо, что он не верит в то, что говорит. Вернее, верит — на эту минуту, и только. Минута — почти ничто.

Минута — миллиарды крохотных мгновений. Минута — калейдоскоп из осколочков безумия.

Allegro.

Задыхаюсь. Бросаю в душную накрывающую волну горсточку грубых словечек. Мужики это любят.

Да: ему нравится. Он отвечает мне:

— Сучка.

Немею от восторга.

Петер, ты слышал, что я — сучка? Слов таких по-русски не знаешь? Мама не научила, а больше некому.

— Ты... с-сучка.

Тонкие длинные пальцы мертвой хваткой сцепляют запястья. Еще немного — я вскрикну и камнем полечу на дно.

Вскрикну: никто не знает, что это — от страха. Глупое тело: все не верит, что оттуда возвращаются.

...С некоторых пор обожаю красть у жен. Особенно — у фантастических.

Хорошо, что Балашов мне не нужен. Иначе я сошла бы с ума.

От ревности.

От счастья.

Сошла бы с ума.

Наполняйся же хмелем, осушайся до дна. Только емкость поделим, но не крепость вина. Да и я

не загублен, даже ежели впредь, кроме сходства зазубрин, общих черт не узреть.

— Сходство зазубрин... Ложное чувство, что оно у меня — с Бродским. Даже хотела послать ему письмо, фотографии. Ну, фотоработы, конечно.

— А я-то уж представил себе: вскрывает Бродский конверт — а там Демьянова в купальнике.

— В то время ему как раз уже можно было жить по принципу «Зачем?». Я потерпела бы фиаско!

— Кто знает. Как-никак сходство зазубрин.

— К сожалению, только у меня с ним. Но не у него со мной. На осколки одного разбитого сосуда мы не тянем.

— А мы с тобой на что тянем?

— Сам-то как думаешь?

— По крайней мере мы одной крови.

— Вот-вот. Мы одинаковые осколки. Да только от разных сосудов.

— А значит... нас можно поменять местами. С Петером как-нибудь познакомишь?

Идиотская шутка. Начинаю злиться.

— Если тебе понадобится почувствовать себя женщиной — я устрою тебе это лучше любого Петера. И вообще можешь три дня потерпеть и не упоминать при мне о жене, других женщинах и мужчинах?

— Демьянова, ты ревнуешь? Ревнуешь чужого мужа. И вообще — чужого человека. Потрясающе. Я тебя люблю.

Он — циник, не я.

Я хоть не употребляю это слово: любить. Не опошляю его.

* * *

Дождь разбросал огромные лужи.

Странно: Иван вовсе не боится навредить себе. То и дело подхватывает меня на руки и идет по воде, аки по суху. Ему наплевать на то, что ботинки скоро можно будет выжимать.

Манера такая — наплевать. А это дает определенную свободу ощущений.

В ближайшем дождевом озерце отражаются морды двух иномарок. Одна подъехала у нас на глазах, во второй парочка жрет гамбургеры.

— Иван, смотри, номера одинаковые! Шесть семь шесть — у этой, и у той — шесть семь шесть! Только буквы не совпадают.

— Ничего себе. Значит, между ними можно загадывать желания.

Подхватывает на руки, по глади озерца — прямиком в проемчик между машинами. Мыском ботиночка касаюсь дверцы — модного темно-зеленого цвета. За бликующим стеклом жующие застыли: лиц не разглядеть, но челюсти не двигаются. Челюсти смотрят на нас.

Затылком я вижу плохо, поэтому обитатель другой машины остается вне поля моего зрения. Сейчас как вылезет наружу, как накостыляет... на всякий случай. Тоненькому, но наглому Балашову, как обычно, плевать.

— Загадывай.

— ...Загадала.

Иван протискивается обратно, я скольжу ботиночком по темно-зеленой эмали: места мало, вода кругом.

Челюсти, помедлив, принимаются за работу.

Ведь двое сумасшедших ничего дурного не сделали: они просто влюблены. А потому немножечко безумны.

Челюсти, знаете, в чем ошибочка-то? Мы просто безумны. И — немножечко влюблены.

Или так: мы немножечко влюблены. А потому просто безумны.

Может, и хотелось бы «большой любви».

Не подпускают.

Да я и не сумею.

Давно надо было свалить в Америку. Ходила бы к Бродскому на лекции, в университет.

Теперь-то что. Единственный, и тот помер.

В детстве я много плакала. Упаду и реву. Никто не поднимает. Родители — молодые, закроются в комнате: им не до меня. Или просто не подходят. Поплачу и перестану. Реакции — ноль, чего силы-то терять.

Теперь, чтобы заплакать, столько преодолеть надо в себе. Ушибиться побольней.

Еще в детстве поняла: никто никому не нужен. Из-за кого рыдать-то?

Однако: *чем тесней единенье, тем кромешней разрыв.*

Значит: не допустить — чтобы — тесней. Вообще не допустить единенья.

А так — просто шататься по полночному Тушину — рука в руке. Листья липнут к мокрому асфальту. Ветер щекочет дерево. Оно поводит телом, стряхивает мириады крошечных капелек. Единенья нет. Есть желание говорить. Говорить: о вчера дочи-

танном Фаулзе, о моем школьном учителе немецкого, о «Небе над Берлином» Вендерса.

— Ты смотрел?

— Напомни...

Торопливо (разве это можно забыть?): ангелы; ангелы, обнимающие нас за плечи; заглядывающие в наши книги; в наши души; немолчный шепот мыслей в тиши библиотек (вспомнил? нет?); циркачка под куполом...

— ...да! циркачка; старичок-историк...

— ...но главное — Мужчина и Женщина...

Мы говорим об осени: я — о скорби природы, он — об обновлении; о том, как можно жить одной — с чужими людьми; о Брэде Питте. О любви.

— Я не могу представить себе, как ты любишь.

Говорить; сжимать в кулаке пятерню кленового листа. Потом засушить его — небольное воспоминание.

Затем можно и — некромешный разрыв.

И тогда из хилого слияния, жиденького расставания легко состряпать чудную пьесу, грандиозное полотно с фатальными сценами.

Будет что рассказать внукам. Поначалу, конечно, — классику. Иссякнув, перейти на личности. Кай и Герда, Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда, Иван-дурак и Лягушка. Это уже про нас.

Наша сказка — со счастливым концом. А значит, она переживет и тебя, и меня, и всех вас. Двое любили. Но когда пришла пора разойтись, они сделали это с приятными лицами. В меру взгрустнув, в меру подчинившись обстоятельствам. Все сделав в меру. Умная сказка. Без выпендрежа и фальши.

* * *

А умирать накладно.

Слезы лить — это тоже — чуть-чуть, совсем чуть-чуть умирать. Всегда говорю себе: ради кого?

...Утром Иван ушел на работу, я осталась досыпать. Как-никак первая ночь: простыня — комом, голова раскалывается на две части: большую и поменьше. Разбили теткину рюмку. Одну из шести. Может, не заметит.

За окошком — серый день, морось. Вылезла из постели часам к шести; на ковре под пяткой — щекотная шкурка киви (обожаю: нежная зеленая плоть, тающая на языке), бардак в комнате — невероятный. Убирать ничего не хочется. Юльке позвонила.

Я не висела бы на телефоне, но из дома Иван не звонит. Да и все эти идиотские формальности только бесят. «Дорогая, ты как, в порядке? Я ничего не забыл!!!» Бред какой-то.

— Балашов поехал обслуживать супругу. Кстати, если что — ночью вы были на срочном задании.

— Дашка, что ты несешь, на каком мы могли быть «задании»?

— Да это на всякий случай.

К соседскому чаду кто-то приперся. Сейчас подымут визг: «Гулять! — А ты уроки сделала? — Нам не задали! Гулять! — Полдевятого! Через полчаса — спать ложиться! — Гулять!..» Но тишина — подозрительная. Дверь приоткрывается. Застываю с трубкой в руках.

— Юль, прости, тут Балашов... снова.

Скидывает плащ, на стол — бутылку кагора. В ладони — три лохматеньких киви. Зачем же так?

— Только что сказала Юльке... он, мол, давно дома, жену... охаживает...

— Я знал, что это тебя доконает.

Провести день в чарующем состоянии безлюбья, бесподобном ощущении душевного равновесия, горделиво улыбаться собственному равнодушию... И — под занавес этой безобидной одноактной пьесы — умереть. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть умереть.

— Я не позволю тебе зацепить... мою душу. Вот так.

Маленькая смерть не отпускает, размазывает под глазами тушь, хлюпает в носу.

Еще полслова, полжеста — он, конечно, выберет единственно верные — и жиденькое безбольное счастье навсегда покинет нас. Меня — покинет; этого достаточно.

Одна боль останется. В подробностях.

— Может, я привязываюсь посильней тебя, Даша.

— Два часа назад я смотрела в потолок и думала: а что будет, если он больше не придет?

Хотела сказать: никогда не было так... упоительно. В одну ночь — если не сердце, то плоть ты точно научил: улыбаться; смеяться; хохотать. Хотела сказать. Не успела.

— Да я и не приду больше.

...Подрожала под ледяным душем; едва промокнула прохладное тело. Влезла в джинсы, свитер. Посмотрим еще, чья возьмет. По влажным волосам бегут

капли, свитер на спине уже сырой. Наматываю волосы на руку, отжимаю. Он не получит меня.

...Чем мы были и что мы не смогли сохранить, — промолчишь поневоле, коль с течением дней лишь подробности боли, а не счастья видней.

Чем мы были: приятелями, надумавшими заняться любовью. Приятелями, которым это понравилось.

Мимо осуждающей бульдожьей морды в соседском дверном проеме — в комнату. Он обнимает меня. Он говорит: «Бедненькая, ну что ты?»

Не смогли сохранить: радость душевного покоя. Когда — только брать, не отдавая.

— Ну что ты?

Промолчала.

Он тянет вверх сырой свитер. «Что ты...»

Руки взмывают. Горлышко свитера упрямится.

Он ушел через пару часов. Приезжал из дома. Через весь город ехал.

Все те два часа, что он был здесь, я плакала. Я прощалась с ним. Даже не спросила, почему — «никогда». Просто прощалась. Так незаметно они и подкрались — подробности боли.

— Петер! Как будет по-эстонски «сучка»?

— Собакка? Коэр.

— Спасибо, Петер.

...На следующее утро телефон запиликал, когда я уже обувалась. Работы для меня никакой не было; я позвонила подруге, которую не видела сотню лет; напросилась в гости. Подруга пребывала в состоянии транса:

друзья до весны подкинули ей крольчиху... а та оказалась в «интересном» положении. И готовилась вскоре прижать к пушистой груди бесчисленных ушастых отпрысков.

— Представляешь? Вот пришлю им счет на капусту в эту их Аргентину! Разъездились!

Так жаль было упускать вечер; жизнь.

Но я собралась и поехала смотреть на крольчиху.

Да, еще: утром звонил Балашов.

Сказала ему, что, пожалуй, надо бы завязать со всем этим.

Тоже — жаль. Но я всегда спрашивала себя: кого ради? Нет того, из-за которого мне стоило бы умирать. Даже чуть-чуть.

Если бы он — действительно — полюбил: так, как бывает... Если бы. Тогда — пусть — подробности боли. Ведь это будет уже — дар свыше. И я безропотно приму его. Но — только...

— Только после тебя, Балашов.

Вернулась от крольчихи в двенадцатом часу: так боялась домой ехать. Около полуночи зазвонил телефон. Сорвала трубку. На пару секунд — обрывок музыки... откуда-то издалека, из глубины. Затем — короткие гудки.

Села на кровать, не переодеваясь. Ждала: покорно, печально.

Не приехал.

(Он потягивается, садится на стол. Облокачивается на ксерокс.

— И однажды мы поймем, что не любим друг друга.

Старается быть искренним. Чтобы — никакой патоки.

Но без патоки женщину не приручишь.

Солги! И я буду твоей «собаккой».

Не хочешь. Ты труслив или гуманен?

Хорошо. Тогда — на неделю — но: полюби.

— Демьянова, я и так тебя люблю.

Это не та смерть, которой я достойна. Желала иной: быстрой, яркой, мучительной. Смертельной.

А мне говорят: умри... чуть-чуть.

Не умею. Не хочу.

...«Любовь», «смерть», «вечность»... Мы по-разному верим в эти заклинания.

— Для тебя, Иван, эти понятия — лишь хитросплетения звуков и смыслов. Тебе стало бы стыдно, узнай ты, как глубоко люди их ощущают. Скажем так: *есть граница стыда в виде разницы в чувствах при словце «никогда»*. Даже представить себе не могу, связаны ли в твоих мозгах слова «похороны» и «скорбь».

— А «любовь» и «измена» — в твоих?

— Не уходи от ответа... В нашей ситуации ты не меньшая сволочь, чем я.

— Мариенгофа читала?

— Нет. А что?

— У него есть роман, называется «Циники». Женщина на глазах у того, кого любит (и кто, безусловно, любит ее), отправляется к новоиспеченному любовнику. Ее никто не останавливает.

— Этот цинизм больше смахивает на садизм.

— Да нет. Просто это полная свобода. Взаимопонимание. Ладно, я поехал. Сегодня провожать не буду: ну, ты понимаешь.

— Понимаю. Особо не балуйтесь — от этого дети бывают.)

...Утро: похоже на освобождение.

Вчера: клочок музыки; короткие гудки...

Крольчиху и вправду разнесло...

Сегодня: на работе я опять не нужна... Юлька сказала...

Пошла в душ. По квартире бродит морда, с утра вечно смахивающая на фольгу из-под жаркого.

На всякий случай поставила у двери таз с водой. Задвижки так и не прибавилось.

Тонкие теплые струйки осыпают тело.

Клочок музыки... С чего я тогда решила, что он звонит с работы? Ждала как дура до полвторого.

Значит, дома сидим, музыку среди ночи слушаем! Развлекаемся! А ребенок-то? Бедный! Как он спит только под всю эту какофонию!..

...Было ли это похоже на освобождение?

Из оцепенения в мареве ласкового дождика выводит грохот жестяного таза — того, с ледяной водицей.

— Алексей Гаврилович, вы не ушиблись? Эй?

Ванная комната у нас допотопная, дверь — за поворотом. Милого соседушку я не вижу, но слышно, как он тихо матерится.

— Алексей Гаври...

— Иван. Николаевич.

Плащ летит на пол.

* * *

Потом, после:

— Кто тебе дверь открыл?

— Физкультурник, кто. Такой любезный был — прямо до ванной проводил. «Дашенька, — говорит, — моется».

— Сам он «моется». Я медитирую. В прошлый раз сказала ему: скрип двери — и швабра полетит без предупреждения. Я очень метко кидаю швабры. Особенно из-за угла. Этот потаскун на тебе отыгрался.

— Я прямо в таз с водой вступил.

— Тем более ты не можешь сейчас никуда идти. Кофе?

— Только без сахара.

— Помню.

— Все еще? Я думал, уже забыла.

— Не издевайся.

— На той неделе у меня жена уезжает к родителям. На три дня.

— Когда?

— В среду. Show must go on.

Три дня — пошли.

Иван приводит меня к себе, в гости. Живут, оказывается, с его бабушкой. У бабули — идефикс.

— Ванечка, не могу... Помру я скоро...

Мне:

— И так она — уже лет пятнадцать.

Ей:

— Ба, помочь, что ли?

— Не надо.

Полная свобода: взаимопонимание.

Очень выигрышный фильм — для парочек.

Я видела его в Таллине — на большом экране. Иван же — на видео, в тряпочной копии.

Восемь вечера, будний день: народу в зале — кот наплакал.

В темноте пробираемся наверх, на балкончик: прямо над входной дверью. Смотрю вниз, в пропасть. На полу — ниточка света.

— Мы дверь не прикрыли.

Ниточка тает, пропасть чернеет.

...Балашов кивает на экран:

— Что, Дашка, слабо тебе — как она?

— Мне? Слабо?

Ставлю ногу на бордюрчик балкона, поднимаюсь. Снизу — пропасть.

Балашов придерживает меня.

Мои руки распахиваются, откидываю голову.

Те двое, на носу плавучего мира посреди Атлантики — судя по всему, были счастливы.

Эти двое, на краю балкончика в полупустом кинозале...

А жаль.

Зато целы останемся.

— Парень, стой! Документы!

— Держите... только быстрее!

— Что значит «быстрее»? От кого бежишь?

— Не «от кого», а «за кем». Девушку впереди видите?

— Это она — от тебя, по лужам-то?

— Ну да.

— Что так?

— Откуда я знаю! Любит, наверно, потому и — по лужам.

— Ладно. Догоняй.

Три дня.

Целых три дня.

Всего три дня.

На работе хватаются за голову: Балашов заболел. Мало того: телефон у него неисправен. Все время берет трубку какая-то сумасшедшая бабка и говорит:

— Шомастгон.

Бабулю — это мы подучили.

Во второй вечер остаемся дома: что время-то терять. Нагло выходим на кухню, чистим картошку. Так, по-семейному.

Ей-богу, похоже на счастье.

Створки окна — настежь. Сидим на подоконнике, курим. Последняя затяжка: Балашов отбрасывает крошечный огонечек в ночь.

— Скорее бы ты уехала в свой Таллин.

— Тебе не терпится, чтобы все это побыстрее закончилось?

— Ничего не закончится. «Все» только начнется.

* * *

Последняя ночь.

Мне не удержать тебя. Просачиваешься сквозь пальцы.

— Что ты сегодня загадала — между машинами?

— Чтобы ты плакал, прощаясь со мной.

— Исполнилось, как видишь.

— Иван, я не уеду в субботу. Во-первых, мы так и не купили билет...

— А во-вторых?

— Дела еще остались. На эти три дня я вообще-то рассчитывала... Ты думал, я скажу, что не могу с тобой расстаться?

— На эти три слова я вообще-то рассчитывал... Брось. Главное — свобода...

— ...и взаимопонимание. В понедельник забегу на работу.

Он уезжает за женой, в Дмитров.

Упаковываю вещички, закрываю дверь.

— Простите за все, Катерина Васильевна. Я больше не вернусь.

В Подольск, к маме.

Пятница. Осень. Дождь.

Прошла неделя. Я уезжаю.

Мама на вокзал со мной не поехала. У нее — работа. Да за шесть дней мы были сыты друг другом по горло. Все судили-рядили: эстонское гражданство, финны — под боком, до неба над Берлином доплю-

нуть можно, дети будут говорить на пяти языках: немецком, русском, эстонском, английском и еще на каком-нибудь.

Иван никогда не вырвет меня из всего этого.

Прощай, Иван.

Запомнила его чуть грустным, уезжающим за женой и дитем в Дмитров. Он сказал: «До скорого».

Скорый поезд — глянцевый от дождя — ждет меня.

Но бояться мне нечего. Юлька говорит:

— Он решил, что ты сбежала еще тогда, в субботу.

Правильно. Мы же с ним все делаем для себя. Вряд ли кому-то из нас нужны душераздирающие сцены на подножке поезда.

Иван иногда вспоминал ту утонувшую девочку, что свела нас. Тринадцатилетний ребенок, погибший от любви.

— Мы и в ее возрасте были умнее, а сейчас и подавно.

— Нет, Иван, думаю, она мудрее нас всех.

— Разница в том, что она прекратила страдания, а мы их не подпускаем к себе. Так кто из нас сообразительнее?

Издалека, с этими мокрыми длинными волосами, он похож на Брэда Питта в «Легендах осени». Опять без зонта.

У меня есть еще полчаса.

— Юль, работаешь? Балашова к телефону не попросишь? Ушел? И куда же? Так вот я могу тебе сказать, куда. Хотя ты прекрасно знаешь. Я же просила не говорить ему. Да, торчит у хвоста поезда. Номер вагона вам неизвестен. Ладно — не говорила. Как это — каждый день отпрашивается? То есть каждый вечер торчит на вокзале? Он же думает, что я уехала в субботу. Что значит «на всякий случай»?

В эстонских поездах верхние койки всегда застелены. Еще секунда — и вот уже вагон вздрагивает, с грохотом перебирает ножищами, замирает на мгновение. И плавно скользит вдоль перрона. Вот и все.

Лежа на прохладном казенном белье, со своей верхней полки я смотрю в окно. Аккуратные задернутые занавесочки мне не мешают. Соседи по купе высыпали в коридор: мама с двумя ребятишками. Я одна. За стеклом — *никого*. Смотрю — и боюсь увидеть. Перрон обрывается. Вот и все.

Опускаю лицо в накрахмаленную подушку. Прохлада; легкий запах свежести. Поезд набирает скорость. Вот и все.

Я и в самом деле не хотела его видеть. За неделю в Подольске что-то незаметно покинуло меня. Я забыла, как он любит. Забыла холод простыни под лопатками, зелененькую нежность киви, забыла эту раздражающую манеру: из любви к искусству не пропускать ни одной юбки. Забыла «лягушечку». Он говорил, осторожно проводя пальцем по моим губам, шее:

— Ну что, царевна... влюбилась в дурака...

— Ну что, Иван... полюбил лягушку...

— Лягушечку. Полюбил лягушечку.

Забыла.

Издалека, с этими мокрыми длинными волосами, он казался похожим на Брэда Питта в «Легендах осени». Он опять явился без зонта.

— *Что ж без пользы неволишь уничтожить следы? Эти строки всего лишь подголосок беды. Обрастание сплетней подтверждает к тому ж: расставанье заметней, чем слияние душ.*

И, чтоб гончим не выдал — ни моим, ни твоим — адрес мой храпоидол или твой — херувим, на прощанье — ни звука; только хор Аонид. Так посмертная мука и при жизни саднит... Видишь, я даже выучил. Не верил, что ты уехала — так.

— Спасибо. Очень мило с твоей стороны, что ты разделяешь мои литературные вкусы. Но «так» я бы и уехала... Ты весь вымок.

— Плевать.

Стоим друг напротив друга. Мне нечего сказать. Я и в самом деле «уничтожила следы»: следы прошлого. Балашов потерянно улыбается. Он слишком сентиментален; хотя вправду — в нашей твердости больше нет толка.

— А что... что за «обрастание сплетней»?

— Так. В редакции свежая тема: мой кислый вид. Мол, Демьянова-то свалила...

— А помнишь, как они говорили — Демьянова скоро забеременеет от вечного сидения у Балашова на коленях? Причем у тебя на коленях разве что

главный редактор не побывал. Но покусать кого-нибудь хочется, вот и выбирают самого...

— ...непохожего.

— Черт их знает. Ненавижу.

Тут-то я и забыла об осторожности. Старая обида заслонила настоящее, вызвала желание обрести союзника, сунуть нос под лацкан пиджака. Я не воспротивилась, когда Иван сделал шаг навстречу, прижал к плечу мою голову. Так и стояли.

Я вдруг подумала: сейчас, по сценарию, он должен поцеловать меня, сказать, что был счастлив со мной, сказать, сказать... Никак не могла решить — допустить ли этот прощальный, само собой, «полный печальной страсти» поцелуй. Волей-неволей увезу его с собой, притащу в Таллин, еще встанет между мной и Петером. Между мной и жизнью... хотя это я, пожалуй, загнула. Но заявить, мол, «нет» — малодушно, да и к чему отбирать у себя хоть что-то?

Молчание затягивалось. Я подняла на Ивана глаза:

— Может, дойдем до вагона? Осталось... десять минут.

— Нет. Ты же не хотела, чтобы я провожал тебя. Сейчас уйду.

Не очень-то он был любезен. Но при этом — как-то вовсе не лирично, почти неприятно грустен.

— Милая, иди. Ты совсем промокла. Где твой пестрый зонтик?

Нам, циникам, еще не то приходилось отвечать и слышать. Но почему-то я не смогла сказать такую простую вещь: оставила матери — *Петер* вчера со-

общил, что *купил мне* новый — большой, с картинкой: репродукция то ли Ренуара, то ли Моне. Вместо этого выдавила:

— Забыла. Мне все равно.

— Конечно. Уж дождь тебе не помеха.

Я вопросительно взглянула на Ивана. Он невесело улыбался.

— Ты же *лягушечка*.

И тут у меня схватило дыхание.

Кончено! Я вдруг осознала это слово.

Еще мгновение назад все было накрепко забыто; Иван даже раздражал. И вот я стою подле отходящего поезда и задыхаюсь от тоски. Теперь все стало ясно: в своем уединении, под пересуды с мамой, я легко «замела следы»; Ивана же каждый день морили моим именем, он из вечера в вечер торчал на вокзале с томиком Бродского под мышкой: и все это время был со мной. Расставался же — именно сейчас, и по-настоящему. Без наркоза.

Его пальцы тронули мои губы, скользнули по шее.

— Лягушечка.

Я наконец обняла его: будь что будет. Единственная истина: все кончено. Против смерти не попрешь.

Мелькнула идиотская надежда. Что он имел в виду, когда говорил: ты уедешь, тогда-то все и начнется?

За пару минут до отхода поезда я вдруг отыскала нужные слова. Нужные, нежные. Они не понадобились.

Иван опередил меня: коснулся губами щеки, подался назад.

— Не надо. А то еще не сможем...

Если скажу хоть слово — разревусь. Следом — Балашов. Вот так и будем рыдать, неподвижные, глядя вслед уходящему поезду, ку-ку. А потом возненавидим друг друга. Пьеса давно срежиссирована, дилетантские поправки оставьте при себе.

И все же я хотела... потому что нельзя же разойтись молча...

Балашов покачал головой.

— Милая. Ты, наверно, забыла: *на прощанье — ни звука.*

Сжал в руке мои пальцы. Отпустил. Задержался взглядом. Мы оба плакали. Больше я его не видела.

...Четверг. Восемь вечера. Памятник Пушкину.

Немного нервничаю: как-никак первое свидание.

Двадцать минут девятого. Может, он что-то перепутал?

Половина. Торчу тут как дура.

Без двадцати девять. Он не придет.

Без четверти. Он не придет. Что-то случилось. Жаль. Привет.

Балашов сует в руки цветок, переводит дыхание. Долгий поцелуй; извинения: главред совсем обезумел, в последний момент слетел материал, а собак повесили на Ивана. Пришлось отдуваться, срочно кропать замену. Между прочим, матерьяльчик-то Юлькин был.

Идем по мокренькому Тверскому бульвару: рука в руке. Горят фонарики, зябко. Все спрашиваю себя: что ты чувствуешь? Радость? Приближение любви? Предощущение счастья?

Ничего, кроме легкой неловкости. К тому же он сжимает мою руку слишком сильно, кольца врезаются в пальцы: довольно неприятно. Но сказать об этом я не решаюсь.

Говорим о чем попадется. Перемываем косточки сотрудничкам. Балашов гонит какую-то пургу про инопланетян. Я никак не могу расслабиться.

Сквозь табор неотвязных приарбатских художников, сквозь тьму петляющих узеньких улочек — в тепло и свет, в ласковый мирок из белого камня и темного дерева. Толстощекий симпатяга-негр подрагивает бессчетными спутанными косицами, — голос крадется, вплетается в саксофонную вязь.

Балашов периодически отделяется от стойки с рюмками глинтвейна. С каждым «отделением» я чувствую себя все более благостно.

Нам повезло: какая-то парочка ушла прямо у нас на глазах, мы тотчас захватили освободившееся жизненное пространство. По соседству же на лавочке-жердочке нахохлились два немца: им столика не хватило, а еды заказали — море. Сидят клюют с коленей.

Мы знакомимся с хорошенькой грузиночкой и ее кавалером — оба — студенты консерватории. Он — композитор, она — скрипачка. Балашов заводит «светскую беседу»: сквозь горячую волну глинтвейна, сквозь поток джаза ко мне пробивается его голос — голос говорит о музыке. Он так страстно говорит о музыке, будто о любви, будто о живом. Тепло. Так тепло. Может, я смогу тебя полюбить. Уже почти люблю. Говоришь о музыке как о живом. Я люблю тебя.

В одиннадцать смотрю на часы. Как не хочется.

Двадцать пять минут двенадцатого. Уже не проводит.

Еще десять минут. Что жена скажет?

— Ничего не скажет. У меня железное алиби. Домой сегодня не ждут.

Попалась, птичка.

...У храма Христа Спасителя колесом ходит ветер — ощипывает безответные деревца. Дорожные рабочие в рыжих тужурках похожи на огромные пятиконечные листья: кленовые.

Балашов опирается на блестящую чугунную оградку:

— Жизнь — это рутина. Я бы сдох, наверно, если бы вот таких моментов не было.

Однако обидно. Ушло то время, когда ты была целью. Теперь ты — составная «момента», десертное блюдо.

Вот и гадай после этого: любить — не любить? Плюнуть — поцеловать? К сердцу прижать — к черту послать? Все просто: не «или» — «и».

«И»: сейчас любить — завтра забыть. К сердцу прижать — и после отправить к чертям собачьим.

Циник несчастный. Ты у меня еще поплачешь.

Но пока надо жить, выживать. Вырастить в себе карликовую любовь — печального ласкового уродца. Слабенькое создание, не способное к мятежу. Вот оно, счастье.

Идем по ночному Тушину. Даже ревновать буду не вправе.

Да Бог с ней, с ревностью. Никто никому не нужен. Чего ревновать-то? К примеру, у Балашова

это чувство вообще атрофировано. По его собственному утверждению.

Дома: Иван осматривается, я выскальзываю на кухню, ставлю чайник.

— Ты что будешь: чай/кофе?

— Кофе. Только без сахара.

— Как — без сахара? Горько же.

— Я всегда так пью.

Даже размешивать не надо. Захожу с чашками в комнату. Иван жонглирует тремя мячиками киви.

— В кармане нашел: тебе нес. Ты же их любишь, кажется.

— Я их обожаю.

«Кажется». Для тех, с кем сближаемся, мы — незнакомцы с миллионом привычек и пристрастий. Шажок за шажком познаешь: страстно говорит о музыке, сносно жонглирует, слишком крепко держит за руку, не боится промочить ноги; холодноватый запах одеколона, упрямые волосы, неотступные губы, привкус несладкого кофе.

Шажок за шажком.

...Иван берет у меня из рук чашку, ставит на пол.

Восторженная покорность; шажок за шажком, в тепленькую нестрашную волну. Все дальше — по сырому песочку, босиком. Волна набегает, откатывается, ласкает босые ступни. Дальше! — в нежный своевольный поток, в хмельное безвременье, в ошеломляющую новизну прикосновений. Мгновения, года — обморочное погружение: меж пестрых диковинных рыб, сквозь ласковые водоросли — на дно. Забыть ли?

...Ты тоже познаешь — шажок за шажком. Любит киви: значит, купим еще. Чудно фотографирует: значит, пробьется. Тихонько вскрикивает: значит, счастлива.

А я просто боюсь утонуть, погибнуть. Боюсь никогда не забыть. Что может быть страшнее?

Два часа сна. Вот и утро. Простыня — комом, голова раскалывается. Огляделась: разбили теткину рюмку. Одну из шести. Может, не заметит.

За окошком — серый день, морось.

Куда ты...

— Иван. Иван!

Рябь на поверхности губ. Улыбка:

— Я тоже тебя люблю.

— Иван...

— Милая. Поверь, я бы не ушел.

Наклоняется: упрямые волосы — пологом над моим лицом.

— Поспи.

— Нет.

— Ладно, сперва ты немного погрустишь. А потом заснешь, хорошо?

Сперва я погрущу, потом засну в слабом свете сонного вагона. В шесть утра придут таможенники, пограничники — разбудят, станут долго, нудно проверять документы, переговариваться по рации, щелкать печатями. Потом будет настоящее утро, за окнами поезда — чистенькие автозаправочные площадки, пестрые домики, аккуратные газончики. Затем —

жизнь. И в ней — слабое, хрупкое воспоминание. Чуть грустное, небольное: Иван. Потом — возможно — я позабуду имя. Останется только привкус. Чего? Того, что я буду называть свободой; взаимопониманием. Может быть, счастьем. Да, наверное, счастьем.

А потом, гораздо позже — когда я уже стану жирной коровой и буду носить широкие платья — мы зайдем с Петером (дядей (дедой?) Петером) в какой-нибудь оранжевый барчик. И там случайно нам подадут несладкий кофе. Петер начнет возмущаться. А я вдруг, в единый миг, вспомню что-то — что-то мучительное. *Тогда все и начнется:* привкус несладкого кофе будет гнать меня по вылизанным улочкам, по булыжнику мостовых — вперед. Горьковатый привкус; горячие губы. Падение в бездну. Закрыв глаза, в утраченное безвременье. И уже у Финского залива — по сырому песочку, босиком. Все дальше — в нежный своевольный поток. Свободная юбка будет держать меня некоторое время, и я поплыву, как Офелия. Она плыла и пела, пока намокшее платье не утащило ее на дно. Вот и тогда, через годы, столетия — легкая волна побежит по вздрагивающему телу, на спину брызнут мурашки, безвольные плечи откинутся, распахнутся руки... и вскоре плоть затопит прозрачное тепло, от которого хмелеешь и хочется петь. Я буду петь, пока подол платья не нальется холодным свинцом. И наконец запах несладкого кофе обступит меня, накроет жаркой волной.

Я не вскрикну: на прощанье — ни звука.

Содержание

Са ва 3
Циники. *История любви* 241

По вопросам оптовой покупки книг
издательства АСТ обращаться по адресу:
Звездный бульвар, дом 21, 7-й этаж
Тел. 215-43-38, 215-01-01, 215-55-13

Книги издательства АСТ можно заказать по адресу:
107140, Москва, а/я 140, **АСТ – "Книги по почте"**

Любое использование материала данной книги,
полностью или частично, без разрешения
правообладателя запрещается.

Литературно-художественное издание

Кудесова Ирина

Са ва
Циники
Сборник

Художественный редактор О.Н. Адаскина
Компьютерная верстка: Е.В. Аксенова
Технический редактор Т.В. Сафаришвили
Младший редактор Е.А. Лазарева

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953.Д.000577.02.04 от 03.02.2004 г.

ООО «Издательство АСТ»
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 28
Наши электронные адреса:
WWW.AST.RU E-mail: astpub@aha.ru

ОАО «ЛЮКС»
396200, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. К. Маркса, д. 9

При участии ООО «Харвест».
Лицензия № 02330/0056935 от 30.04.04.
РБ, 220013, Минск, ул. Кульман,
д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42.

Открытое акционерное общество
«Полиграфкомбинат им. Я. Коласа».
220600, Минск, ул. Красная, 23.

СА ВА

Любовь — счастливая и несчастная, нежная и облагораживающая — или страстная, темная, иррациональная...

Любовь-привычка...

Любовь-воспоминание...

Любовь-ошибка...

Как многолика и всегда необычна она в изящных, тонких, лиричных произведениях Ирины Кудесовой!

Совсем как в жизни...

ISBN 5-17-026545-X



ИРИНА
КУДЕСОВА